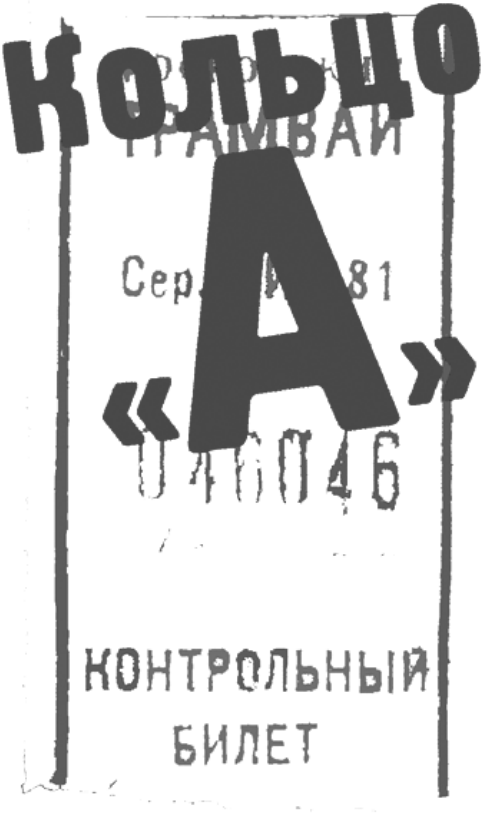
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ



ИЗБРАННОЕ
2022 – 2025

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
К62

К62 **Кольцо «А»**. Избранное 2022–2025. — М. : Союз писателей Москвы ; Пироскаф, 2026. — 422 с.
ISBN 978-5-6056582-0-7

В сборник Союза писателей Москвы «Кольцо „А“» вошли избранные стихотворения и литературно-критические статьи авторов, публиковавшихся в электронной версии журнала с 2022 по 2025 год. Отдельный раздел книги составили произведения ушедших из жизни в последние годы поэтов, чьё творчество стало неотъемлемой частью русской поэзии второй половины XX – начала XXI века: Натальи Аришиной, Вадима Жука, Бахыта Кенжеева, Кирилла Ковальджи, Татьяны Кузовлевой, Евгения Солоновича, Владимира Строчкова, Дмитрия Сухарева и Александра Тимофеевского.

Возрастное ограничение 16+

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-6056582-0-7

© Союз писателей Москвы, 2026
© «Пироскаф», 2026
© Авторы материалов, тексты, 2026
© Наследники, тексты, 2026

I

СТИХИ

Юрий РЯШЕНЦЕВ

БЕССОННИЦА, СУМЯТИЦА, СУМБУР

* * *

Стареет автор. Звон комедий
стихает. Жизнь меняет нрав.
Досель чуть слышный хрип столетий
всё явственней. Шекспир был прав,
когда из ближнего состава
друзей принц Генрих, сев на трон,
вдруг не узнал — кого? — Фальстафа,
Ах, где ты, явь других времён…

А старость, словно власть, жестока.
Она меняет прежний быт.
Все шалости в мгновенье ока
забыты. Лучший друг забыт.
Так и у всех: у принцев, нищих,
будь ты святой, будь ты подлец,
в дворцах, в прогнивших ли жилищах
глянь, что за дверью? Там — конец…

Так думалось под лампой рыжей
при скрипах ночи неживой,
пока не понял, пень бесстыжий:
пишу онегинской строфой.

Меняю строфику,
немедленно меняю!
Перечеркни, что написал, перечеркни…
Но от того, что пару стоп я добавляю
в ход размышлений, не меняются они.
Вот ночь пошла. А ход у ночи долог.
От двойки стрелка еле катится к нулю…

Будь проклят тот дотошный ушлый нумеролог,
нам эту бойню нагадавший к февралю.
Война умнеет. И пилот— философ
летит и славит Господа за то,
что он избавлен от таких вопросов,
как — бац! — и дома нет, а кто там, кто?
Не знает он, и никому не надо
об этом знать. Не он затеял бой.
А он лишь над людьми чужого града
свалил свой груз. Попал само собой.
Но кончится полёт и эта ночка.
А завтра — выходной. И ждёт жена.
Сын чуть простужен. Но здорова дочка.
И — жизнь! И удовольствий до хрена!

Убийца! Зверь!.. А я? В своей постели
под свежею хрустящей простыней,
я — кто?
В своём ещё послушном теле
я — не убийца? Не такой? Иной?..

О чем это я думал перед тем , как
залечь в постель? Ах, да, Шекспир. Ему,
мне кажется, сегодняшняя темка
как раз бы подошла, как никому…
Опять, опять… Вот этим пошлым тоном
намерен объясняться с жизнью я?

А чем с ней объясняться? Разве стоном…
Ее — одно — судить!.. А кто судья?
Не знаю, кто. Но скоро всей шарагой,
всей хеврей, извините за арго,
нам предстоит предстать перед гаагой,
я склонен верить бешеной марго…

Заснуть бы… Нет. Бессонница — как старость:
она суёт свой посох в бытиё.
Нужна не вялость мышц — нужна усталость
от дела — не от жизни. Нет её.
И тут часы не во-время, некстати
забили… Зареветь не мудрено.
от цифр на этом страшном циферблате,
которому что жизнь, что смерть — одно.
А впрочем, смерть… Хотите знать — проверьте:
она не лучше старости, войны,
зато живой всю жизнь боится смерти.
А мёртвый умер, лёг — и хоть бы хны…

О, Господи, какая ахинея…
Но между прочим, а не сплю ли я?
Когда засну, поверю ль хоть во сне я
в существование инобытия?
Ведь я же верил! Но, некрепок в вере,
как бывший убеждённый пионер,
я знаю: я изведал в полной мере
тупик, слепой тупик сверх всяких мер.
И вот итог. Неверие надеждой
ещё не до конца побеждено.
а сон, уже владевший каждой веждой,
вдруг упорхнул. Сомнение? Оно!
А я ведь знал: какое счастье это —
там, в том, что называется раю,
в расхожем псевдониме «того света»
вдруг маму встретить, встретить мать свою!

Ведь там хронометрам с их установкой
дан укорот. И вот ликую я,
что мать в одежде, смелой, юной, ловкой,
о, господи, — ровесница моя!
Ведь времени-то нет!..

Но здесь иное.
Безвременье бесплодью не чета.
Оно, увы, явление земное.
И кровь, и ложь, и смерть, и нищета —
вся эта мразь — питомцы лютой свиты,
когда не основатели ее.
Прибиты ими, ими же привиты
от совести, храним свое житьё.

Меня сейчас поит по чайной ложке
Себя самой объёмная беда:
болезнь, простой, тоска по сгибшей кошке…

На жесть карниза с крыши глыба льда
вдруг громыхнула — звук, как при бомбежке…

Я, бывший хладнокровный ротозей,
покой хранивший при любой погоде,
я, тот который, по словам друзей,
был сделан на путиловском заводе,
чего тянусь дрожащею рукой
за кружкой, где снотворная отрава?
Дань возрасту мне новый тремор мой —
иль ужасу державному подстава?

Айпад иль телевизор пусть молчат,
пускай молчат и утром и — вовеки!
Будь проклят твой осведомлённый чат,
мне правду выдающий, как в аптеке.
Будь проклят государственный совет,

себе, родному, с верностью крысиной
служащий рьяно, так что целый свет
хохочет и рыдает над Россией…

Мне кажется, иль утро из-за штор
свои права на время предъявило?
Открыть окно!.. А где он, тот забор,
что выглядел всю жизнь мою так мило?
Не знаю, что почин сей возвещает —
бомбоубежище взамен роддома? So!

Молчи, Шекспир! Нас возвращает
в четырехстопный, «наше все!»
Мой город мглу сугробов будит,
как все другие города.
Таким, как все, уж он не будет, —
ты слышишь? — больше никогда.

Ирина ЕРМАКОВА

ВОЕННЫЕ РОЗЫ

* * *

На границе традиции и авангарда
из затоптанной почвы взошла роза
лепества дыбом винтом рожа
семь шипов веером сквозь ограду

Распустилась красно торчит гордо
тянет корни наглые в обе зоны
в глуховом бурьяне в репьях по горло
а кругом кустятся еще бутоны

Огород ушлый недоумевая
с двух сторон пялится на самозванку
на горящий стебель ее кивая
на смешно классическую осанку

То ли дело нарцисс увитой фасолью
да лопух окладистый с гладкой репой
а под ней земля с пересохшей солью
а над ней небо и только небо

* * *

Татьяне Бек

Под оком неусыпного глагола
речь — мимо уст — морозный воздух пуст
гол как пустырь на Соколе за школой
где летом лиловел репейный куст

Среди привычной пошлости и прозы
когда борей несет свою пургу
махнёшь рукой и — вспыхивают розы
кустарные в растоптанном снегу

И прошлогодний куст чертополоха
уже краснеет прямо на глазах
краснеет как ушедшая эпоха
в репьях и розах розах и репьях

Кончая век все лучшее — на ветер!
А куст на перемене под звонки
за ловлей ветра обломают дети
ничейные — ботаники щенки

Когда бы жить и жить по-человечьи
в любом июле или ноябре
разглядывая снег за краем речи
весь в лепестках на волчьем пустыре

* * *

Цветёт шиповник дышит перегной
Вы так нежны как будто не со мной
В лугах гуляют девочки и козы
Качает цепи ветер продувной

Я чувствую грядущее спиной
Пока Тургенев бродит за стеной
Пока он пьёт один в своём Париже
Он тоже не болел он тоже выжил
И расквитался с тяжестью земной

Навскидку — бес но бабочка — на свет
Он пишет мне в ответ японской прозой
Как хороши как рыжи были розы
И ставит подпись: Мятлев
Гасит свет
И в темноте — тупым шипом изранен —
Вскочил ругнулся разорвал конверт
Хихикая исправил: Северянин
Цветёт шиповник

Я сплю уже не помню сколько лет
У нас в раю зависит всё от дозы
В лугах летают мёртвые стрекозы
Сыграл своё — а там — Париж потоп
Ещё глоток?
Мистификатор суетится чтоб
Успеть свежезарезанные розы
К утру подкинуть в мой хрустальный гроб

РОЗЫ

Скользкий дождь накрывает
сумерек решето
на набережной стреляют
опять не понятно кто
скорее всего Никто

А на углу ул. Высокой
бойкая с передозы
Зойка нырнув под ларечный навес
торгует бандитские розы
черные спорные розы

Ойкнет приклад-обрез
времени и —
уплывая
на стебельке голова
дернется как живая
сплевывая слова
Это твоя Москва

Это твое бессмертье
странно
приимный град
сумерек волчьих летний
тысячелетний брат
это твою свернули
голову вниз назад

Медленные как пули
в ночь лепестки летят

ТОСТ

Розы как Музы
сводят меня с холма
алой толпой кустарной
поступью витиеватой

Долгой сырой тропой
вниз — под откос
вниз — под конвоем
зорких шипов цеплючих

Розы что Музы язвят
дёрнешься — зашипят
чёрные жала со звоном колючим вонзят
тысячей капельных точек распишут
винным багряным червлёным
карту пути как тату
набивая на коже

Не обернуться, друзья мои, не вернуться!

Там — на вершине холма

милая родина — там
красное солнце навзрыд
полыхает над нею
блеск — полоумной сиреной
манит сверлит надрывает
так что смыкает в тебе небо с землёй

Строгая стража
ниже уводит и ниже
глубже и глубже в долину

Весело нам уходя
чувствовать шип золотой
прошивающий спину

Гуще и гуще воздух — не продохнуть
розовым духом вымощен разовый путь
путь неминучий словно главный закон
словно летучий самый глубокий
сон
неизбежный для каждого

Ну, дорогие друзья, за военные розы?

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

СТИХИ ИЗ «ВЕЛИМИРОВОЙ КНИГИ»

* * *

Но так приятно целовать
копыто у коня…
В. Х.

С утра, чуть рассвело, я у подножья
цветка увидел крохотный обоз —
карминный с чёрной крапинкой — то божьей
коровке в насекомый храм брелось.
Чуть вздрагивали иногда надкрылья —
взлететь ли ей на праздничный простор
или вернуть крылатые усилья
обратно в шеститочечный узор?
Цвёл колокольчиков тончайший хор.

Кузнечик велимир, как бы калека
с клюками, приготовился лететь,
и усики подъял его коллега,
из листьев мари выглянув на треть.
Полз муравей, неутомимый левин,
плыл мотылёк ганс христиан, цветы
целуя и не ведая беды, —

к заутрене, на маленький молебен
во славу их праматери — Воды.

На поле пасся, вдалеке от крова,
конь, и блистало тело вороного,
как чёрные китайские шелка:
взглянуть — и вмиг зажмуриться, и снова
взглянуть, но так, чтоб дрогнула строка.
Из полевой необозримой шири
я в лес забрёл, где чудилося мне
то зинь, то фью, то сип, то цири-цири…
И там остановился в полутьме.

Великое событие оленей
шло меж деревьев, бережно косясь.
Их ласковое пламенное племя
несло рогов изысканную вязь.
За ними шёл поэт в пижамной паре
и бормотал сквозь круглые очки
одический рефрен о божьей твари.
День угасал, но вечер был в ударе,
и что ни шаг взрывались светлячки.

БЕЗУМНОМУ МОНАРХУ

К сумасшедшим птицы тянутся.
Мозга нет у малых сих.
Руку им подай — останутся
навсегда в руках твоих.
Ты подобен им, ты весь иной,
посвисти, вверху побыв,
как бы тронув воздух песенный,
поцелуем пригубив.
Сколько вех и мелких вешечек

в роще, щебет и щелчки, —
вместо головы — орешечек,
вместо лапок — щипчики.
Руку с кормом выставь наискось,
бормоча: «Лети, лети…» —
и слетятся птицы, зная сквозь
ветви верные пути.
А потом и та, что с крыльями,
та, что всех безумней, сир,
унесёт тебя усильями
мерных взмахов в райский мир.

СВИТОК-ОРАТОРИЯ

1

Строй струнных ми минор —
и пауза
с оглядкой робости.
И взор —
как вдох подветренного паруса —
вдаль, прочь от пропасти

небытия. С оглядкой. Ми
минор и чуткой
свободы шаг.
О, встречный шаг стреми
к неоспоримой вести чудной,
строй струнных! Так!

Из страха смерти ли,
нота за нотой,
из страха нежного тянись,
тебя приветили
рукою дирижёрской, ввысь,
ввысь, музыка! Звучи, работай.

2

Утешься! — призываю небеса я
и землю, что слезами дней солима,
в свидетели — утешься! — я, Исайя,
пророчествую, айя, айя, айя,
утешься, сердце Иерусалима!

Исполнилось! — ни волчья стая,
ни вавилонские у стен завои
не устрашат отныне! — я, Исайя,
пророчествую, айя, айя, айя,
раскаявшемуся воздастся вдвое!

Из-под плаща, смотри, ступня босая.
Ты рядом — вот! — стоишь на поле брани,
Ему под ноги ветви пальм бросая.
Ты, колос, на Его взойдёшь дыханье.
Я голос твой, Исайя, айя, айя.

3

Дно долин, дымных утром долин,
переливы и вёсны долин,
кипарисы и сосны долин,
все соцветия вечнозелёных маслин
или красный песчаник, —
да поднимется дно, да возвеселится печальник!

Мох, трава, бельма пней,
дерево, кривизною корней
в землю вросшее, — да возвеселится прохожий
полной грудью воздух вдохнуть! —
да низложатся эти холмы до подножий,
чтоб Идущему выровнять путь.

4

Стаей встрепенётся хор.
Слава явится Господня.
Слово яснится сегодня.
Стойкий утренний простор.
Свод небесный, голубой.
Свет слепящий, бестелесный.
Станет плотью свет небесный.
Струнные пласты, гобой.

5

И хор взлетел на крыльях партитур:
сто остроглазых птиц. Одна — слепая.
За ней тянулся, прозревая, хор,
и не истаивала в поднебесье стая.
Как всякий зрячий, боль свою тая
и волю, от которой ближним больно,
вслед за слепой хотел прозреть и я,
и потому прикрыл глаза безвольно.

Марина БОРОДИЦКАЯ

МЕЖДУ НАМИ

АХЕЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Как у моря на песочке,
под стенами Трои,
лупят до смерти друг дружку
храбрецы-герои.

То стрелой разят из лука,
то копьем с повозки, —
их подзуживают сверху
боги-переростки.

Только нынче не до драки
воину Ахиллу:
он рассержен, он обижен,
всё ему постыло.

Он размазывает слезы,
топает ногами
и один уходит к морю
жаловаться маме.

— Мама, мама, Агамемнон
мне нанес обиду:
он забрал мою награду,
деву Брисеиду!

Заступись, ведь ты богиня,
покарай нахала! —
Вышла на берег Фетида,
горько воздыхала:

— Ах, сыночек, мой цветочек,
розовые пятки!
Для того ль тебе судьбою
век отпущен краткий,

чтоб последнюю игрушку
отбирали злыдни?
Нет, сынок, твоей обиды
горше и обидней.

Долечу я до Олимпа
облаком соленым,
ноги дряхлые омою
пряхам непреклонным:

вдруг да выйдет нам отсрочка
иль какое чудо?
Ты ж на подвиги, сыночек,
не ходи покуда.

Слушай волн утешный рокот,
слушай вопли чаек…
Я пришлю к тебе Патрокла —
может, полегчает.

МЕЖДУ НАМИ

Говорила Харибда Сцилле:
— Самый смак ведь не в грубой силе,
а вот в этой секунде выбора —
той, что стольких из жизни выбила,
как горошины из стручка.
Вот она-то, и правда, сладка!

Говорила Сцилле Харибда:
— Может, правда, а может, кривда.
Между нами, как говорится,
мы закисли с тобой, сестрица,
редко нам выпадает работа.
Мы ведь созданы для чего-то?

Отвечала Харибде Сцилла:
— Философия мне постыла.
Слышу, плещет вдали весло.
Чую — умника принесло!

* * *

Нет, Иов так и не возроптал.
И Бог его исцелил и дал
богатство, скот и новых детей:
семерых сыновей
и трёх дочерей,
как раньше. Только других, ну да.
Бог не был женщиной.
Никогда.

* * *

В русском алфавите
десять гласных букв,
две немых, остальные согласные.
— О-о! — кричат гласные. — А-а!
Так нельзя-а-а!
Согласные кивают
и идут по своим делам.
Тридцать процентов гласных —
это совсем неплохо.
Можно выдрать две или три,
согласные согласятся.
Можно пять или шесть…
Интересно,
а безгласные алфавиты
где-нибудь есть?

* * *

Румата, детский мой герой,
шпион, прогрессор, фехтовальщик,
как Штирлиц, никому не свой,
в начале книги мудрый мальчик,
а под конец — опасный псих,
тупая точка огневая…

Но ты умел любить живых
и побеждать не убивая.

* * *

Эксперт по теории струн
красив, хотя и не юн,
и в клетку расчерчен — ни слова, друг мой,
ни слова!
Август двадцать второго.

Душно, душно, хоть вой,
дым и гарь над Москвой.
Откуда? Кажется, что *оттуда,*
но нет, это просто леса горят —
горят под Рязанью
леса с глазами
в августе двадцать второго.

* * *

Караул устал кричать караул,
время тихо ушло в запой.
То ли смерть в сундучке, то ли царский стул,
то ли карта с тайной тропой.

Караул устал кричать караул,
и Харон опустил весло.
То ли стон из глубин, то ли горний гул…
Ставьте лайки. Время пришло.

Галина НЕРПИНА

ХРУПКИЕ ДНИ

* * *

как призрачна вечерняя Москва —
и ветер пахнет красною москвою
изгиб реки уносит в рукава
мазута плошки
ветки со смолою
по кругу ходят сумрачные сны
и ветками вычесывают воду
последние незрячие огни
вытягивают спину
пешеходу
внезапный звук — прозрачный и пустой
но хрупкой медью колокола
полный
под сводом восьмигранной
колокольни
расколется яичной скорлупой

* * *

и покуда ты ночью не спишь —
в норах времени черная мышь
прогрызает
алмазные дыры
бессловесные плачут и лгут —
и подземные реки текут
на камнях оставляя пунктиры

расщепляясь
уходят слова —
обожженная глина жива
и внутри этой бездны окрепла

но ничем
не пожалует нас —
милость Божия вбита в каркас
цвета охры и пепла

ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

...и покатится камнем блестящим
сойдет с иглы
у вселенной глаза незрячи
но колени ее круглы

никогда уже не приснится
забудет всех
потому что тогда простится
замолится этот грех

а еще бывает — над бездной
десятки лет
все блуждает ее бесполезный
ее дребезжащий свет

и одна остаётся страшно
чернеть в пыли
как с узором из рыбок чашка
выкопанная из земли

ОКТЯБРЬ

пей же себя, хризантема!
в мутном бокале — игла…
сентиментальная тема
простоволосая мгла

огнь небесный и скрытый
листьев опавшая сеть —
их аромат ненасытный
в воздухе будет висеть

птицы салютом взлетают
шум их крупней и слышней
хрупкие дни коротаем
в призрачном царстве теней

непроходим и уродлив
каждому встречному враг
куст как живой иероглиф
спуск закрывает в овраг

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

это путь твой в тыщу ли
расстилается в пыли
на обломках в лихолетье хризантемы расцвели
не припомнить имена
лишь китайская стена
ночь рассыпанные звезды светляки и семена

пламя вьюжное в былом
стало матовым стеклом
оплывает лунный камень в изголовье ледяном

что дается по судьбе
не сыграешь на трубе
тихий свет любви забытой приближается к тебе

высыхает бирюза
там где капнула слеза
иероглиф полустертый и закрытые глаза

ПОБЕРЕЖЬЕ

здесь в прибрежном колышутся ветре
разноцветные ленты поветрий

полинявшие пылью и болью
как земля с пересохшею солью

сердолики свернулись в бутоны
обреченность бездонную помня

обожженная бабочка мести
прилетает сюда после смерти

продувная шумит черепица
тяжела
командора десница

СИРЕНЬ

Вике Власенко

за окном — мели Емеля —
сад колышется вдали
где гудели
пили ели
златорунные шмели

их сиреневая тайна
капли крупные на дне
день сгорает неслучайно
в очистительном огне

охра пыльная на платье
мед в стекле аптечном густ
полыхает
на закате
летний бабочковый куст

ЭНТОМОЛОГИЯ

*

на серых скалах с южной стороны
зимуют пауков дрожащих табуны —
и в свой черед на их мохнатых спинах
белеют камешки пережидая зиму

*

жук червленый жук бегущий
по распавшейся коре
по зеленой желтой груше
в загорелом сентябре

*

жук над собой в траве увидел птицу
как в зеркало в зрачок ее глядится —
уже не прыгнуть выше головы
попав в зрачок надсмотрщика травы

*

клоп опустился на морское дно
со стаей рыб голодных заодно —
не зная что в просторах ледяных
он лакомством окажется для них

Илья ФАЛИКОВ

ИЗ КНИГИ «ПРОСТИ»

* * *

Ясно же, не состоится ремонта
не оттого, что не надо его.
От горизонта Эвксинского Понта
со стороны атмосферного фронта
движется туча столетья сего.

Ну, заработаем. Ну, и потратим.
Бросить насиженное? Не вопрос.
Освободить перегруженный воз.
Черным похвастать обновочным платьем,
в белый горошек, — в урочище роз.

Столь достоверно и столь бестолково
счастье намечено лунной подковой,
да и подлунная не подвела —
белая тучка летит мотыльково,
бабочка села на холку вола.

Памяти непроведенной побелки
вдоль по наклонности стен вековых
стоило выскочить из переделки,
из перестройки, то бишь перестрелки,
из колеса обезумевшей белки,
предполагая остаться в живых.

* * *

Вспыхнет свет у тебя в темноте.
Ночь закончится сразу.
Дни не те или ночи не те?
Не хватает на фразу,
на лексему, на слово, на звук —
угасает в полете
звездный час, выпадает из рук,
состоящих из плоти.

Это старый, банальный мотив —
все кончается, дескать,
недомучась и недолюбив.
Задержаться, помешкать,
чтоб стояла звезда, не упав,
и еловая лапа
ухватила тебя за рукав
в миг падения с трапа.

Теплоход назовется «Эол»
и уйдет без возврата.
Скрипок нет, и не слышно виол,
глухота виновата.
В хороводе камен и харит
всё как прежде в ажуре,
и настенная лампа горит
в жестяном абажуре.

Притязаньем на бронзу и медь
надуваться негоже.
Недоспать, недопить, недопеть
не получится тоже.
Стар глагол, и мерцает металл
эхолотов и раций.
Это что тебе там наболтал
твой бесценный Гораций?

* * *

Я подожду тебя под светофором.
Ты, посетив над нашим сквером форум
брачующихся пепельных ворон,
окажешься летающим пером.
Свет надо мной то красный, то зеленый,
снег под ногами — тающий, соленый,
и слабоосвещенная Москва
не озарит прощального мазка.
Воздвиженка не кончится на этом,
и не понять, с каким работать цветом,
пока от Симеонова столпа
течет непросвещенная толпа.
Пока Москва свои сжигает свечи,
не дальнозорок и не близорук,
не вижу ничего, до скорой встречи
в «Магнолии», в «Магнолии», мой друг.

* * *

Последний раз это было в Париже,
под плеском раздутых штор —

там некий парус шумел все ближе,
когда разразился шторм.

Не золото наполеоновских пчелок,
прикупленное за гроши, —
полночного неба трехвездочный осколок,
порочный бульвар Клиши.

На телеэкране блистала путана,
был глаз у нее нечист,

в окно залетел от живого платана
исхлестанный ветром лист.

Подвержен паденью, паденью и палу,
он знал про нечистый глаз.
Накрыл тот парус живую пару,
он знал, что — последний раз.

* * *

От Лютеции до Курил,
не задерживаясь нигде,
ты ее по земле водил,
ты водил ее по воде.
То, что спутнице показал,
в память штопанную кладешь —
ветер в поле, базар-вокзал,
воробьиной шпаны галдеж.

Благодарно изумлена,
дальний свет над глухой тропой
засвидетельствовала она
сверх показанного тобой.

Шумных трав и воловьих жил
незахлебывающийся звук —
факт того, что ты пел и жил,
получаешь из первых рук.

* * *

Дремал, сложивши руки
крест-накрест на груди,
и сомкнутые веки…

Иди и не гляди.
А ты идешь у края
немого топчана,
и я, не замечая,
играю в молчуна.

Займись домашним делом,
немого не буди,
не в черном ты, а в белом,
умаялась поди.
Для кофе и для чая
не вовремя встаю.
Иди себе у края,
у края, на краю.

* * *

Пока мы блуждаем в Лебяжьем
в виду Боровицких ворот,
неслыханной важности, скажем,
событие произойдет.
В деревьях, похожих на трубы,
возникнет серебряный звук,
и, видимо, девичьи губы
окажутся розами вдруг.

Двух всадников серого волка
в дорогу позвал соловей,
завелся, зашелся, защелкал,
назвался защитой твоей.
Береза как лебедь крылата,
и тополь как Пушкин богат.
В расцвете ума и таланта
поет Александровский сад.

* * *

Вышли во поле под конец
из пожизненной переделки,
зазывая других овец
на большую игру в гляделки.
Жили-были, а все не впрок,
и превыше любого прока
прожитой небосвод высок
и лучится соколье око.

Нечем хвастать, считая медь
продырявленного кармана,
и обманов не заиметь
кроме утреннего тумана.
Не иметь, ощутив предел,
никакого другого дела —
чтобы я на тебя глядел,
чтобы ты на меня глядела.

* * *

Вот они и встретились, в небесах —
сын и мать — в серафических голосах.
Там теперь вас двое, вас не разнять,
вы слились в объятиях, сын и мать.
Там никто не плачет, только поет.
Правды ради — третьего недостает.

Дай мне девять дней или сорок дней,
чтобы все устроилось как при ней.
Чтобы вопли мои, чтобы сопли мои
не увидел никто — уходи, не смотри,
о, никто не суйся в пустыню мою,
где со стен затоптанных вопию.

Александр ПЕРЕВЕРЗИН

ИЖ ЮПИТЕР-3

I

В тот жаркий день, рассказывала мама,
из Химок «Иж Юпитер-три» с коляской
отец пригнал и весел был и счастлив:
четыре передачи, два цилиндра,
руль с зеркалом и фарой посредине,
спидометр сто сорок. Он принёс
бутылку водки, разливного пива,
позвал соседа Витю, брата Юру
и в гаражи поехал — обмывать
девятисотрублёвую покупку.

II

Мне было три, я этого не помню.
В тот жаркий день, рассказывала мама,
я заболел. Озноб, температура:
сначала тридцать восемь, а под вечер —
за сорок. Ни таблетка аспирина,
ни марлевый компресс не помогали.
Отказывался пить компот из яблок,
лежал, бессильно плача. Мама вдруг
оцепенела в ужасе, увидев,
что судороги в ножках начались.

III

О, паника, дочь страха и тревоги!
Кого-то она делает безумным,
лишая разум ясности, кого-то
невольно заставляет ошибаться,
но знала мама: что бы ни случилось,
нельзя одной паниковать. Она
окно открыла, — хорошо, что первый —
и как была, босая и в ночнушке,
на клумбу прыгнула и побежала
искать отца в ночные гаражи.

IV

Из полумрака доносился смех,
и песня, что уходит прочь тревога,
что впереди у жизни только даль,
и мама в песню ворвалась рыданьем
и закричала: «Саша умирает!»
Нависла гробовая тишина.
Отец поставил на траву бутылку,
вскочил на мотоцикл и кикстартер
ногой ударил, — рыкнул «Иж Юпитер»
и выкатился вмиг из гаража.

V

— Не всё допили, — сокрушался Витя, —
когда вернёшься? Так не обмывают.
— Шлем не забудь, — напутствовал брат Юра, —
гаишники стоят у горсовета.
А мама закричала: «Ты куда?
Нельзя тебе! Ты пьян, ты разобьёшься,

угробишь и себя и мотоцикл!
О сыне хоть подумай!», но отец
не слышал никого, он к дому гнал,
и волосы под ветром развевались.

VI

Спала необжитая коммуналка,
одно окно раскрытое светилось.
Отец ворвался в душную квартиру
и, с грохотом пройдя по лабиринту,
поднял меня, укутал в покрывало
и вынес в электрическую ночь.
Ах, как он гнал! По яркой Пионерской
по уходящей в темноту Советской,
по Третьего Интернационала —
за Воймегу по новому мосту.

VII

Мелькали вдоль обочины деревья,
танцующие ветви зазывали
в свои нетерпеливые объятья.
Дрожали листья, и на повороте
прозрачный путник в саване застыл.
На горизонте осветилось небо,
отец увидел ледяной корабль,
затерянный среди огромных сосен,
покрытый мхом, осыпанный цветами
и светом озарённый изнутри.

VIII

Под девяносто километров в час
мы к кораблю лучистому летели,
всё больше становился он, всё ярче,
но ЗИЛ-130 выскочил навстречу,
сигналя, дальним светом ослепляя
и возвращая нас на путь земной.
Рассказывала мама, в те минуты
она в слезах сидела над альбомом
с Мадонной и Младенцем Рафаэля.
Икон в те годы дома не держали.

IX

Когда мы оказались у больницы,
я с рук отца свисал, он барабанил
ногой в глухие двери. Пациенты
включали свет в разбуженных палатах.
Пришла сестра, сказала «прекратите»
и всё без объяснений поняла.
Она несла меня по коридору,
по долгому пустому коридору,
отец смотрел ей вслед, ему казалось,
она меня уносит навсегда.

X

Наутро дождь, рассказывала мама,
заморосил: сначала еле-еле,
потом сильней и превратился в ливень,
который не кончался восемь дней.
А на девятый к городской больнице
подъехал «Иж Юпитер-три» с коляской.

Два человека в бело-красных шлемах
по лужам шли к приёмному покою.
И первое моё воспоминанье —
два бело-красных шлема на столе.

XI

Отец сама серьёзность был, а мама
с коробочкой зефира в шоколаде,
смущённо улыбаясь, у палаты
благодарила доктора Хрипкова.
А он сказал отцу: «вы молодец,
сообразили и не испугались.
Ещё бы полчаса… А посмотрите,
как кубики он ловко собирает:
на красный — красный, а на синий — синий.
Он будет архитектором у вас».

XII

Жизнь пролетела, я к архитектуре
имею отношение такое:
когда в квартире вешали картину,
я показал, куда вкрутить шуруп.
Я книги издавал, набрёл на лодку
на Цыпиной горе, под Тверью видел,
как время превращает в лес погосты.
Я ту любил, которой не бывает,
с поэтами читал стихи в Смоленске,
из Сочи возвращался в чёрный день.

XIII

Я дважды смерть той ночью обманул,
но третий не обманешь, и когда
она вернётся, я скажу «встречайте,
отец и мама, скоро выезжаю».
Я сяду на отцовский «Иж Юпитер»,
и пусть шатурский байкер на запчасти
его купил в две тысячи четвёртом,
он заведётся и помчит меня,
в бескрайнюю долину, где река
и старый мост, и мама молодая.

Анна АРКАТОВА

СООБЩЕНИЕ УДАЛЕНО

* * *

Изображение стерто
сообщение удалено
болельщики делайте ставки
готовьте штрафные судьи
Представляем
новый олимпийский вид спорта
просившийся к нам давно
называется
кто кого первым забудет

На правой дорожке я
на левой
он
участник из калифорнии
мы так часто менялись майками
что сейчас их не различить

Но это же в норме атлетов узнавать не по форме

а по легкой щербинке между зубами
по новолунию талии
туалетной воде Фаренгейт
по тонким пальцам анестезиолога со стажем
в конце концов по дебильному анекдоту

который
прежде чем грянет
стартовый пистолет
он-то наверняка вспомнит а может быть и расскажет

* * *

Милость моды
девы в платьях
юбки льются до земли
популярность цвета хаки
очевидно на мели
белый розовый атласный
фиолетовая нить
флаг какого государства из отрезков будем шить

* * *

И все же Тверь хороший город
хороший город эта Тверь
посередине как бы вспорот
проспектом верь товарищ верь
пропитерской шкале пропорций
прись порционное тепло
сквозь фильтр табак бумажный стронций
чтобы от сердца отлегло

* * *

Вижу сон
помощник режиссера
или начинающий стажер
хлопает хлопушкой той которой

запускает камера мотор
эпизод 430-й
декораций нет массовка в хлам
голос сверху стоп спасибо снято
все свободны
можно по домам

Но у снов бывают перекрестки
и в другом увиденном другим
героиню не смывая грим
гул затих
выводят на подмостки
наскоро сколоченные им

* * *

Лето присмотрит за электричками
солнечный свет за теплицей
скатерть присмотрит за тёплой тарелкой
чашка за молоком
дождь обещает смотреть за верандой
осталось договориться
с бедной любовью
за нами последними
чтоб хоть одним глазком

* * *

Я была молода и красива
или просто была молода
даже карточка жиденькой ксивы
говорила дежурным о-да

я была ответвлением природы
истекала тянулась лилась
ее тысячной копией сотой
долей держащею связь

я жевала подножную правду
я враньем научилась блевать
кем я стала собою не став бы
наконец призадумайся б***ь

героиней бумажного сыска
герцогиней резного стола
проходящей по делу запиской
«Извините меня— не смогла»

* * *

Редкая фотография
две мои баю-бабушки
Куракина и Аркатова
их дети только что поженились
через год родилась я
и как же они радуются
как они ухохатываются
могут себе позволить
зная что н***я
к завтрему не переменится
хоть бы и околесица
хоть бы и крестословица
и через двадцать лет
в этом же положении
будет сиять роженица
глядя на отраженьице
выпроставши послед

* * *

Признайся что ты не владеешь умами
да что там умами — признайся — своим
не очень владеешь хотя между нами
с другими умами твой вряд ли сравним

Возьми хоть бы как он дрожит и трепещет
над буквой нечеткой в начале строки
как будто над ценной стеклянною вещью
а не над чечеткою беглой руки

А то ещё как умирает картинно
в бреду завещая что знал наперёд
бездумному сердцу слепому кретину
которое все это сразу просрёт
Да вот оно прыгает прыгалки вроде
от жидких прожилок к несущей стене
то давится словом то врет о свободе
то места себе не находит во мне

Владимир САЛИМОН

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

* * *

В первый день от Рождества Христова
с любопытством выглянул в окно —
не случилось ли чего такого,
что мы в тайне ждем давным-давно.

Может, стены рухнули темницы
и оковы пали, ведь в груди
просто так не станет сердце биться,
все равно, как птица взаперти.

Может, сквозь метель в морозной дымке
я увидел, как за стариком
ковыляет ослик по тропинке
с всадницей, сидящею верхом.

Если бы она сидела боком,
то легко могла бы соскользнуть,
уронить младенца ненароком,
испугать случайно как-нибудь.

Голые в кровопотёках ноги
ослику впиваются в бока.
Кажется, что нет конца дороги.
Путь не близок.
Ноша нелегка.

* * *

С елки сыпались иголки,
стоило ее тряхнуть,
и по ним могли мы елки
отследить последний путь.

Через комнату большую,
через длинный коридор
по ступенькам вниз, втихую,
пронесли ее на двор.

Словно мумию в пелёнах,
чтоб зарыть ее в песке,
в землях крайне отдаленных,
в самом темном уголке.

Словно статую тирана,
что изрядно всех достал,
личная его охрана
с глаз долой снесла в подвал.

* * *

Время зверя.
Чертенята
потому-то так и прут,
как по осени опята.
Лесовик и Водокрут.

Вындрик, Шпендрик — валят валом,
так и лезут на кровать,
а, укрывшись одеялом,
не желают вылезать.

Но не бойся, я в обиду
ни за что тебя не дам
омерзительнийшим с виду
этим наглым господам.

Разбегутся черти в страхе
от рождественской свчи,
что затеплю я во мраке
в черной, аспидной ночи.

Разбегутся врассыпную,
испугавшись не меня
и не свечку восковую,
но небесного огня.

* * *

Тыквой сделалась карета.
Кучер — крысой.
Боже мой,
иль привиделось мне это
под часов настенных бой?

Наша жизнь совсем не сказка,
так себе — житье-бытье,
но не может быть развязка
столь печальной у нее.

Должен быть конец счастливый.
Должен, чтоб не предвещал
нам кудесник прозорливый,
как бы кто нас не стращал.

Взявши бережно в ладошку,
как румяный пирожок,
на твою надену ножку
я хрустальный башмачок.

* * *

Триста лет продлится иго?
Больше? Меньше?
Дни считать
надоест, поскольку лиха
дна не видно-не видать.

Сыплет снег, но он не может
кривизны пространства скрыть,
раны наши не поможет
подлатать и подлечить.

Лихорадит то и дело —
словно болен ты насквозь.
Слег, лежишь белее мела,
ноги вместе, руки врозь.

Залезая под простынку,
пялишься на белый свет
через крохотную дырку,
черную, как пули след.

К ней, прильнув губам, пышешь
жаром, выпускаешь пар,
тяжело со свистом дышишь,
как в котельной кочегар.

* * *

Дождь со снегом. Ветер стылый.
Чтобы власть в России брать
в октябре, недюжей силой
духа нужно обладать.

А когда распить не можем
поллитровку на троих,
о каких-таких хлопочем
мы проблемах мировых?
Ноги — спички. Руки — крюки.
глаз давно не ватерпас.
Но по счастью смертной скуки
не завелся вирус в нас.

Разойдутся гости, выну
я отцовскую шинель,
на плечи ее накину
и поду в пургу, в метель

прогулять шинель, покуда,
хоть морозно и темно,
не побила моль-паскуда
офицерское сукно.

Элина СУХОВА

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ

* * *

гул в голове
это бродит стих
толкается там
в мозговое моё вещество
а что ночь на дворе
так ему ничего
у него
синяя спинка
оранжевые бока
лапки как у жука
крылья от ветряка
страшно ему
одиноко
и хочется быть как все
то ли про
босиком по росе
то ли о парусе
определится небось к утру
вылезет
станет сам по себе жить
станет с другими стихами
над буковками кружить
может увижу потом
в этой пляске

похожее что-то слегка
издалека
синяя спинка
оранжевые бока
крылья от ветряка…

* * *

Колхоз «Красный пахарь» основан с тридцать втором году.
Хотели, чтоб всё было поровну, каждому по труду.
Сперва стащили на общий двор кур, коров, лошадей,
Потом поделили по братски баб, стариков и детей.
Старики и дети померли быстро — кто будет чужих-то кормить?
А баб мужикам вскоре обратно раздали,
Потому что товарищ Сталин
Перегибы в колхозном строительстве указал отменить.
Земля в «Красном пахаре» — чистый песок,
Посеешь пять зерен — взойдёт один колосок.
Сажали и брюкву, и клюкву, и картошку, и огурцы,
То замерзнет всё, то замокнет, то поклюют скворцы.
На трудодни выдавали охапку сена да овса по четыре кило —
Ничего-то в «Пахаре» не росло.
Жили плохо. Зато недолго — настали худшие времена:
Фашист на Россию попёр и началася война.
Мужики — уж такая их доля — винтовка, портянки, ать-два,
А бабы пилили лес, для заводов заготавливали дрова,
Опять же сажали картошку — но это полная жесть:
Сегодня сажают, а завтра копают — очень хочется есть.
Война завершилась победой, мужики все сгинули до одного,
Впрочем, толку от них, алкашей… И так ничего.
«Красный пахарь» — колхоз безмужичный,
Сплошные дикие бабы, это вообще салют.
Стали к ним председателей слать — кто попался, того и пошлют.
Один развивал свиноводство, второй разводил ершей,
Третий был не пришей к п… рукав, а четвёртый — пришей.

Сто сорок пятый всё баял про ускорение,
перестройку и нарратив,
Создал бабский швейный кооператив.
Землю всю поделили и продали кто кому.
Теперь всё по-рыночному!
Остановка автобуса «Красный пахарь».
Ей, народ, вылезай, спеши!
А вы говорите «картошка»… Коттеджи в полях хороши!

* * *

Я сказала у кассы:
Дядя, не забудьте свои покупки!
— Сама ты тётя — рыгнул он пивом —
Бутылку взял и ушёл.
Я сказала у кассы:
Молодой человек, можно подвинуть тележку?
— Извините бабуля — шарахнулся он —
И подвинул тележку и кассу.
Я сказала у кассы:
Дедушка, вам авоську помочь донести?
— Что вы, девушка — захихикал он —
Я и сам еще ого-го!
Я спросила у сына, у взрослого сына:
Кто я — Девушка? Бабушка? Тётя?
— Хватит маяться дурью, сестрёнка!
Ответил мой взрослый сын.
А я шлем нацепила — сестрёнка!
На скутер вскочила — сестрёнка!
На конюшню помчалась — сестрёнка! —
Седлать своих лошадей…
Потому что и правда сестрёнка.
Ближайших лет тридцать сестрёнка.
А кто ты потом, сестрёнка?
А потом есть много идей!

* * *

Бабуля ведёт меня за руку, а в её руке другой
Валенки, серые, как щеночки.
Бабуля ведёт меня за руку
По дремучей улице по ночной
Извиняться к чьей-то чужой дочке.
Да, я перепутала валенки в детском саду
И теперь в чужой дом извиняться иду…

Как не перепутать валенки,
Если ими заставлен весь детский сад?
Если они, словно овцы,
Из любого угла глядят?
Я боюсь этих валенок
Я серость боюсь вообще.
Я боюсь одинаковых,
Простодушных вещей.

Но бедные серые валенки…
Разве в чём-то они виноваты?
И рейтузы, и шапки-ушанки,
И галоши на осень —
Виноваты ли в чём-то они
Или те, кто их носит?
Что поделать, если в нашем сельпо
Есть один вид галош и один — пальто?
Серые валенки, серые люди,
Бедные вы овечки…

А если так —
Я пойду танцевать от печки!
Да, теперь она жёлтая
И по ней летят птички!
Тюль на кухне,
Нарезанный бахромой,

Заплетён в косички!
А на спине моего пальто
Белой оконной краской
Нарисован соседский пёс Дружок.
И спасибо вам, валенки,
За этот мой первый,
Не такой, как у всех,
Шажок…

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРЕСТ

КАМЕНЬ

Андрею Волосу

Темно, в ночное небо посмотри,
Ты вечности в своём раздумье равен,
Что снится камню этому внутри
Себя, чем занят этот камень?
Звезда и атом, мерно электрон
Вращается вкруг солнца, без наитий,
Всё так легко, что ты уже внедрён
В подспудный круг вершащихся событий.
Неизречимый мир — там всё с нуля:
Незримая энергия движенья,
Там вихри, напряжения, поля,
Инерция плюс сила притяженья.
Нет, пустота в нём вовсе не пуста,
В нём мрак — не мрак, в нём светоч излучений,
Нежней пыльцы дробимость вещества,
Подвижный ряд мгновенных изменений.
Его шлифуют ветры и вода,
Он огрубел и почернел от горя,
В его морщинах жили холода,
Он знает зной, он помнит рокот моря.

И вот на перепутье трёх дорог
В полях глухому путнику не слышен…
В нём все живёт, всё движется, лишь Бог
Застыл над ним, как камень, неподвижен.

* * *

Только к овершьям приблизится жар,
Весь наготове,
Около крови закружит комар,
Около крови.
Низкочастотно взрывая покой,
Радиус чертит —
Около смерти кружишь, родной,
Около смерти.
Стоило в жизнь за единым глотком
Эту явиться,
Чтобы вкусив, разрази тебя гром,
с нею проститься?!
Кровь ли пичуги, кровь ли быка,
Кровь человека…
— Видишь, по небу плывут облака,
Зелень прекрасна,
Вегетативная пища легка
И безопасна.
— Крови пичуги, крови быка,
И человека!
Что ж, насладись, неуёмный, моей
Первою группой,
Раз между ступой и скалкой милей,
Скалкой и ступой.
Коль уродился ты с жаждой такой,
Кровососущий —
Всяк в этой малости краткой земной
Нужный и сущий.

* * *

Посыпаю пеплом голову, ползу по золе,
Прижимаюсь к отвесной стене.
Первый переводчик Бога на Земле,
Аарон, приближается ко мне.
Позвонки и яблоки, шелестит виссон,
Борода на солнце горит,
Не затми мне свет, первосвященник Аарон,
Без посредников я буду говорить.
Позади меня века, утащило время чёлн,
Затянуло в сатанинский котел,
Отойди, не ты меня пред очи навёл…
Сам во тьме дорогу нашёл.
Моего отца я вижу власы,
(Моего земного отца).
Не к Синайскому подножию пришёл твой сын,
А к ступеням деревянного крыльца.
Как величественна старость, вспоминаю возраст твой,
Как я мог, проживши столько лет,
Веровать в бессмертие за твоей спиной —
На тебя надежды боле нет:
Потому как ты истлеваешь на глазах
Сигаретою, курящейся в руке,
Легче дыма растворяясь в проходящих облаках,
Горсткой пепла оставаясь в кулаке.
Посыпаю пеплом голову, ползу по золе,
Прижимаюсь к отцовской стерне…
Первый переводчик Бога на Земле,
Аарон, приближается ко мне.
Неужели мне тишину твою стеречь,
Слушать у могил благовест?!
Помнить, жить в России и в землю лечь,
Это даже больше, чем крест.

* * *

Зачинается морозно
День седой-седой,
У реки стоит бесхозно
Стог седой-седой;
Из реки седой выходит
Пар седой-седой,
И седое солнце всходит
Над седой луной.
И бескровные седины
В мозг седой-седой
Прорастают, как вершины
Елей за рекой.
Никуда от дум не деться,
Всё слагают вновь:
У меня седое сердце
И седая кровь.

* * *

А я бы так сказал, что если существую,
То смыслу вопреки, разумному во вред,
И волю над собой неумную, чужую
Я в главном признаю, не избегая бед;
Но подчиняюсь лишь одной Господней воле,
Она и бич, и суд, и Божья благодать,
(Не всё ль равно, какой правитель на престоле),
Пусть будет так, а мне молиться и внимать.
Я и внимаю, что ж, — Совет сменяет Дума,
А в сущности одно бессмертное клише,
Несчастная страна, но в самый раз подумать
Не о её жильцах, а о своей душе.

* * *

Как в слове «солнце» буква «л» закатна,
Двух горизонтов перевернут лес,
Видна на горизонте необъятном
Двум странникам полуокружность «С».
И если первый перед сном зевает,
Закатом еле теплится стекло,
То в поле русском ветер раздувает
Над лесом приподнявшееся «О».
Как жду рассвет, как жизнь невероятна,
И как я к ней средь прочих прикипел…
Но всё-таки, как в солнце — «л» закатна,
Как всё-таки закатна в солнце — «л».

Андрей ГРИЦМАН

ЗАМЕРЗШЕЕ МОРЕ

DE PROFUNDIS

Из глубины издалека
В окоченевшие поля
Наедине и в тишине
Летит незримая струна
Лежит пространная страна
Где издавна была война
Ну а теперь там мор и глад
И им, понятно, не до нас
Лишь только ветер иногда
Вдруг донесет обрывки тем
И я теперь оттуда сам
Себе пишу в рассрочку раз
Не объясняя всех причин
с необходимостью вразрез
Так и живем — наискосок
И дым плывет от тех костров
Дыханье страшных тех полей
Где свет полуночный светлей.
Так начинается исход.

ЗАМЕРЗШЕЕ МОРЕ

Ну что ж, последний полустанок
Еще впереди
Если устанешь, ко мне заходи
Есть все что надо:
Воздух с реки
Спальная полка,
Корзина, картонка,
Чемодан, саквояж
Нет собачонки

Вынь да положь:
Будущей жизни
сквозной перестук
Дальнего моря невидимый звук

Сели, налили, добавили, вот
славно, но явно
Опять перелет
Нет остановок
Рельсы летят
Ясно что едем мы наугад

Что остается: по новой налить
Славный в купе получается быт
Нам еще ехать и ехать вперед
Души в пути
Превращаются в лед
Сзади полей магнетический зов
Тщетно в обратный тянет полет

Море замерзшее
в бездну зовет.

* * *

Окаянные дни.
Те же скулы, только мясистей.
Сколько лет те же тянутся серые сны,
Словно дым над Россией.
И грохочут составы к замерзшей реке,
за последний тревожный рубеж.
Я пристроился тихо в вагон для калек.
Там особенно воздух свеж.
Нет газет, только слухи с далеких равнин,
где мерцают селений огни.
Полоса отчуждения: копоть да тлен,
обгорелые ветви одни.
Я давно перестал пересчитывать дни.
Как живу так живу, словно стертый
тот жетон незаметный на илистом дне.
Никого я не помню. Ну Бабу Ягу.
Утонула как будто в зеленом вине.
Ну Кащея — он вечно бездомный.

* * *

Под утро мне приснилась книга
Существ чудесных бестиарий
Непроходимый смысл знаков
В веках пропавших навсегда

И непонятно что за этим
За непроглядной тенью вязи
Столетий страшных оправданье
Или последняя стезя

Под утро понял что не нужно
Стараться тщетно и упрямо

Тот код безумный разгадать
Все это уже было ране

Нумерология безумья
Неповторимый ультразвук
Такое может лишь с дыханьем
Войти в тебя неотвратимо

Осесть слоями в теплой крови
Под утро группу поменяв
Потом заснуть у этой книги
Так никогда и не закрыв

Но позабыв об этом знаньи
Проснуться снова, по странице
Запомнить книгу до разгадки
Чтоб никогда не рассказать

* * *

Пока я сижу и кропаю себе,
всегда между делом, фальстарт

ведет ответвленьем к глубинной трубе.
Невидимый зиккурат
зияет во тьме инфракрасным столпом.
Я вижу его иногда.
И бьюсь я об стену возвышенным лбом,
об стену где надпись «судьба».
Еще там написано «СССР».
Еще обозначено «х-й».
Пока руководство не приняло мер.
Но в общем-то ты не горюй.
Поскольку ни Бродский, ни Бог, ни судья
не знают, что там, за стеной,

где иероглифом слово «судьба»
на двери забитой одной.
Еще есть табличка, что там «эсхато-
логический первый отдел».
Тогда застегну шерстяное пальто,
чтоб выстоять беспредел.
Пространство и время текут из глазниц,
туда, где Всевышний все ждет.
Стремим в пустоту полет наших птиц,
все выше и выше в полет.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Мы ведь все уже проходили.
Газеты — плохо выученный урок.
Словно свет небес погасили,
стал не виден обитый нами порог.
Где не раз спотыкались, ломали
кости, надежды, и судьбы тех,
кто лежит в гробу, как в школьном пенале,
взяв на память свой первородный грех.
А ему не до нас. Ждать потопа, Гоморры?
Кто знает плату за идиотизм?
Молчит, задремав, Средиземное море,
закатным оком блеснув на миг.
Что делать? Ответ сгноили. Но все же:
детей не есть, барана разбить,
кровь не хлебать, и тогда забрезжит
на той стороне, где земля родная,
охранная линия береговая,
до которой нам
никогда не доплыть.

Евгений БУНИМОВИЧ

ЭПИТАФИИ ПЛЮС

I

сперва боялась залететь
потом боялась пролететь

сперва боялась жизни
потом боялась смерти

II

то что вышло из-под пера
не довело до добра
это понято не вчера
и не сегодня с утра

всё что ночами саднило в мозгу
пробормотал на бегу
думал поймаю успею смогу
и ни гу-гу

III

живёшь
как если это тебя не касается
как если это других касается
однажды это тебя касается
и не живёшь

IV

маячила казалось
расчётливая старость
да плохо продавалась

маячила казалось
бомбическая старость
да сил не оставалось

маячила казалось
хотя бы малость
да и того не оказалось

V

дома из стекла и бетона
не умеют стареть
на них страшно смотреть

люди из стекла и бетона
не умеют стареть
на нас страшно смотреть

дети из стекла и бетона
ушли в социальную сеть
не вернуть не согреть

VI

памяти андрея

не ходил
летел
по параболе
потом по инерции

не ходил
болел
дергался
подпрыгивал
хотел взлететь

почти прозрачен
почти бесплотен
почти ангел

VII

была чума
потом война
потом сосед пришил соседку
сошел с ума

VIII

мама и папа
сидят за столом
как сказать отцу
папа это сон
мамы нет

как сказать себе
и это сон
и папы нет

IX

сначала пел в подземном переходе
как поплывет на белом пароходе

позднее пел на белом пароходе
как счастлив был в подземном переходе

X

на старости лет
на дуде игрец
залёг на дно

на старости лет
на дуде игрец
обнаружил в глазу предмет
не бревно
но гниет давно

на старости лет
на дуде игрец
обнаружил в шкафу скелет
пригласил на обед
подумал кино

на старости лет
на дуде игрец
обнаружил входной билет
с открытой датой
и с переплатой
в один конец

подумал п***ц
подумал смешно
положил билет под сукно

XII

зарвался
заврался
взорвался

XIII

тихо шизел в типовой застройке
век отмерял в человеко-днях
женщин любил в человеко-койке
путая метки на простынях

шёл в сторожа попадал в хлопкоробы
падал в сугроб по команде ложись
только не спрашивал нас с кого бы
делать свою человеко-жизнь

XIV

минута мычания
минута молчания
минута прощения
минута прощания

XV

в мефистофелевой оферте
обнулился последний раздел
потому как задолго до смерти
фауст до смерти всем надоел

XVI

жил долго
знал много
спал плохо
вызвал помощь на дому

помощь пришла
но уже не к нему

на ночь глядя
сменилась эпоха

XVII

памяти нины

не место красит человека
а человек красит место

валиком и кистью
днем и ночью
в крапинку и в полоску

а потом вешает табличку

ОСТОРОЖНО
ОКРАШЕНО

ибо сказано

не место красит человека
а человек место

если конечно оно свято
пусто
и не бывает

XVIII

не место красит человека
а обстоятельства места

а также обстоятельства времени
образа действия

и семейные обстоятельства

красят они человека
красят

пока не скажут человеку

экий ты сегодня крашенный
краше в гроб кладут

и кладут

XIX

мне голос не был
не вышел рылом
похоже что
зато не бегал
за шестикрылым
конем в пальто

козырной червой
все песни песней
перешибал
век двадцать первый
еще железней
твой виртуал

XX

писала стихи
потом законы
теперь пишу некрологи

Ирина КАДОЧНИКОВА

ЖАЛКО ПТИЦ — ИМ НАДО УЛЕТАТЬ

* * *

Утилизация люизита
Прошла без особых последствий
Шесть тысяч триста сорок девять тонн
Всё у нас теперь хорошо
Прощайте, противогазы
Защитные костюмы
Прощай, наше родное
Химическое оружие
Молчат столбы и сирены
Больше не ходят слухи
О постоянной утечке
О давно прогнивших цистернах
Экологическая обстановка
Постепенно нормализуется
Можно теперь собирать грибы
Земля ничего страшного
Уже не хранит
Наш маленький город с большим прудом
Наконец-то превращается
Просто в маленький тихий город
С большим прудом
Деревянными домами
Старыми липами
И новыми магазинами

Две «Пятерочки» и два «Магнита»
Но все очень любят «Доброцен»
Так хорошо ходить
Особенно летом
Или ехать на велосипеде
Едешь себе и едешь
Смотришь на зелёную пойму
На пруд
На железную дорогу
На мост через Каму
Всё это очень приятно видеть
Своими глазами
Ничего больше не надо
Как же мне повезло
Но до сих пор не верится
Что можно вот так пролежать под землёй
Без всяких последствий
70 лет, а потом куда-то деться
Непонятно во что превратиться
Да пребудет с нами
Ныне и присно
Тень нашего Люизита
Я видела: его призрак
Ходит по пойме, пьёт воду из невидимой речки
Под железнодорожным мостом
Да пребудет с нами память о нашем
Ангеле-Хранителе
Гении места

Говорят, уже строят новый
«Завод смерти»
Но это всё совершенно секретно
Написано в интернете
Пройдите по ссылке:
https://dzen.ru/a/Y7wP-yHfVXKHwgik

ПОДПОЛЬЕ

1

Нижнее окошко дома:
Можно заглянуть в подполье —
Ничего почти не видно,
Как на тёмном свете, что ли.
Но присмотришься немного —
Из отверстия напротив
Пыльный мятый луч проходит
В деревянную утробу.
Я сама туда ни разу
Не спускалась — только папа.
Он большим крюком железным
Открывает люк на кухне.
И дыра потом чернеет,
Пахнет лесом и колодцем.
Я сижу на табуретке,
Жду, когда же он вернётся.
А в глазах сплошные ёлки
И стоячая вода.
Он уходит ненадолго —
Возвращается всегда.

2

Когда-то дом перевернётся,
И мы окажемся в подполье:
Жилая неживая площадь
Без окон и перегородок.
И будем двигаться на ощупь
Сквозь комнаты и коридоры
По косточкам земли неровной,
За редкие держась опоры.
Какая сила всё разъяла,
Расстроила и растворила?

А что у нас вот здесь стояло?
А что на этом месте было?
Мелькают призраки предметов:
Диван, стиральная машина,
Ковёр малинового цвета,
Коричневое пианино.

3

Человек спускается в подполье,
Будто в воду чёрную уходит.
С каждым шагом ниже, ниже: меньше
Остается человека в доме.
А потом его совсем не видно,
Только голос — где-то под порогом,
Только шум какой-то под прихожей:
Лязг ведра, потусторонний грохот.
А потом в обратном всё порядке:
Вырастает человек над полом —
С каждым шагом выше, выше: больше
Памяти становится у дома.

* * *

Жалко птиц — им надо улетать.
Жалко рыб — им надо зимовать,
Под огромной крышкой ледяною
Крошки кислородные клевать.
Жалко ёлку — будет новый год.
Жалко человека — он умрёт:
С каждым днём всё больше умирает,
Смерть его стирает и сотрёт.
Во дворе осенняя трава,
А в сарае свежие дрова.
Жизнь проходит в поисках чего-то,
Но чего — не говорят слова.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

БУКВЫ

* * *

Здесь, в промзоне, где тени остры и узки,
где бесцельно-причудливы все закоулки,
эти травы сквозь щебень, щелей сквозняки,
эти ржавые прутья и эти куски штукатурки.

Здесь беззвучно пылает огонь-флогистон,
полыхает, кипит, ничего никогда не сжигает.
Это бывшее все, замирающий стон или звон,
прототип чего нет и чего никогда не бывает.

Это лежбище легких, не алчных добыч,
словно бродишь в распахнутом настежь сезаме.
Это жизнь после жизни, лишь рыхлый кирпич
безучастными красными плачет слезами.

Здесь чернеют меж прочих неясных вещей,
что безропотно приняли нравы
суровых развалин,
очертанья могучих остывших печей,
многоцветные сколы шершавых окалин.

Это список утрат, безвозвратных потерь каталог,
что обернут густой, золотой мишурой паутины.
Не найдется того, кто осилить бы мог
пролистать его весь иль хотя бы до середины.
Почему мне так близок твой тесный простор,
почему так понятен угрюмый твой образ?

Здесь так кротко молчат, никому,
ничему не в укор,
эта цвель, эта прель, безнадежные
завязь и обрезь.

Вот и смотрит душа и всегда, и теперь
в этот сумрак безглазый, стозевный, безликий,
в эту вечную полуоткрытую дверь,
по которой взбегает тугая спираль повилики.

* * *

Ночь пишет начерно кириллицей,
в упор глядит, глаза не прячет.
Как этот мрак проснуться силится,
вспять повернуть, чернеть иначе.

Чтоб белоглазой антарктидою
легли в полях снегов порядки,
чтобы безгласное, безвидное
вдруг облеклось в земные складки,

чтоб в снегопад себя обертывая,
как по реестру и кадастру,
легли на землю эту мертвую
репейников военных астры.

Уже спешат в потемках граждане,
не зная, что собравшись с силами,
строчит повестки всем и каждому
февраль лиловыми чернилами.

Уже хрустит походкой кадровой
пехота пороха и праха.
Пасьянсы темные раскладывает
и нить сучит слепая пряха.

* * *

...Не взрыв, но всхлип
Т.-С. Элиот

Вот он, вот он край,
вот он — край всего:
рельсы и сарай.
мачты ПВО.

Кто сказал, что мир
всхлипнет под конец?
Вряд ли этот миг
замышлял Творец.

Вряд ли потирал
о ладонь ладонь,
и не предвкушал
пепел и огонь,

и не ту войну,
что чадит вдали,
как она видна
Гойе и Дали,
не ружейный треск,
трупы на полях,
не плешивый бес,
что наводит страх.

Чтобы допустить —
мир и город пуст,
надо проявить
выдержку и вкус.

Вопль огонь и мрак —
это через край,

все скромнее, как
рельсы и сарай.

Нет, не всхлип навзрыд,
и не вихря взмах…

Рябь и плеск воды,
ветер в проводах…

* * *

Дождь переходит в снег, а снег
обводит мелом дороги и кровли…
Мы с тобой давно задумывали побег
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.
Нет, наверно, задумывал я один,
прослышав о счастье, покое, воле,

сам себе царь, себе господин,
но — один всего лишь на миг — не боле:
ведь и в глуши очерченных мелом лесов,
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов
ты расщепляешься на множество голосов,
ведущих невнятные разговоры
и бесцельные споры.
Все то, что читал, что тебе напевала мать,
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,
все это не спит и мешает спать,
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты темную реку переходишь вброд,
ища во тьме огонек папиросы,
словно на берегу тебя поджидает тот,
кому задаешь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чем здесь крестьянин и санный след,
и пушкинский почерк по белому белым?
Татуировка синеет, мол, счастья нет,
а есть только свет и тьма, обведенные мелом.

Мы живем впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,
где досужий крестьянин успел обновить
свой полоз,
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,
надтреснутый, запинающийся, негромкий голос,

говорящий чудную, ч**у**дную весть,
о том, что ты здесь и уже с пути не собьешься…
— Господи, — пробормочешь, — если ты есть…
И тут же заткнешься.

Анна ПАВЛОВСКАЯ

БЕЗЫМЯННЫЕ СНЫ

* * *

Из грустного чувства простуды
И долгого чувства зимы
Рождается мысль, что отсюда
На волю не вырвемся мы.

Сугробы все больше и выше,
Все толще полярный медведь.
Я с детства февраль ненавижу,
Особенно позднюю треть.

Когда засыпает дороги,
Как пепел, безжалостный снег,
Опасное чувство тревоги
Испытывает человек.

Страдая от нервного тика,
По снегу бредет, как хмельной,
Теряя в пространстве безликом
Перчатки одну за другой.

* * *

Вечерней тиной пачкает лицо
Подводный город с праздничной подсветкой,
И ты попал в садовое кольцо,
Тебя поймали разноцветной сеткой.

Плывут к тебе с высоких этажей
Пятнистые влиятельные морды.
Жизнь звезд морских и розовых ежей
Ты изучил во сне глубоководном.

Хотел бы ты проснуться, но вода
Несет твою пиратскую шкатулку,
И солнце не доходит никогда
До этих тесных маленьких проулков.

* * *

Уезжаю в скором поезде —
ужин съеден, чай допит,
чемодан ненужной совести
возле выхода стоит.

Подстаканник отражается
в черном заспанном окне,
и никто не дожидается,
и не помнит обо мне.

Спит девчонка из Чертанова,
спит из Троицка атлет,
хочется начать все заново,
только смысла в этом нет.

Огонек мелькнет и скроется,
и опять сплошная тьма,
я не жду что все устроится,
так хотела я сама.

Чтобы ветра слышать пение,
чтобы огонек в окне,
чтобы скрылось в отдалении
все, что стало больно мне.

КВАДРАТЫ

1

всю неделю мне снились квадратные сны
всю неделю квадратные мысли метались
безымянные сны обреченной страны
что медалями вытравлены
на металле

нынче в болдино рай и холера цветет
осыпая пыльцой опустевшие пашни
нынче в болдино май но квадрат не дает
мне увидеть пространство и стать настоящей

поднимите мне книги доколе мне спать
между строчек свинцовых в бумажной постели
нелегальные сны заливают кровать
расплываясь коньячным дождем акварели

2

квадратный сон не втиснуть в круг луны
кондратий сна домашний мелкий гений

углы торчат из плоскости стены
отбрасывая земляные тени

все вытеснит и вычеркнет квадрат
лакают флаги красными хлопками
твой личный ад убитый сталинград
который не за нами а над нами

привет тебе из солнечной земли
квадрат окна или квадрат квадрата
где полнолунья рваный нули
вплывают в рай трубы из медсанбата

ты в том раю стоишь в одном строю
со всеми теми кто уже не в теме
ты злой и чёрный и тебе не надо
на небесах ни круга ни квадрата

3

мне кажется жизнь избирательно
ласкает тебя расточительно
сшибает тебя убивательно
тиранит тебя уморительно

квадратные зданья кирпичные
квадратные окна подвальные
ошибки такие типичные
такие попытки провальные

и память наивная девичья
малюет все переиначено
когда ты в квадрате малевича
размазан и вычеркнут начерно

Вячеслав ПОПОВ

ДАЙ МНЕ ПАМЯТИ В ДОЛГ

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНИН

Оленин спит и спит; неделю
Оленин спит и спит…
За темным лесом, за метелью
им чистый спирт испит —
не русский сон и не кавказский,
полярный крепкий сон:
несут его на санках хаски
и дышат в унисон…

Стихи, как счастье, обрывались,
словесный таял пар,
а с ним Aurora Borealis
и город Нарьян-Мар.

СМЕРТЬ ПОЭТА

У Блока пепельные губы,
у Блока в инее зрачки,
одет в громаду жуткой шубы,
убит сотрудником Чеки,
убит вслепую, беспричинно,
трусливым выстрелом в упор

(шел от подруги смерть-мужчина,
от коньяка и кокаина
был слишком гулок тёмный двор).

Лежит на мартовском сугробе
поэт, не найденный пока, —
о, как горбат чеканный профиль
заломленного кадыка!
Потусторонним серым светом
поэт сквозь время освещён…
Любая смерть к лицу поэтам,
живой поэт всегда смешон.

ВДОВЬИ КЕДРЫ

На задах заводского поселка,
что граничит с массивом лесным,
регулярно вдова-хлебосолка
оделяет приезжих съестным.

Выйдет из дому с полной кастрюлей
запашистой горячей еды
и стоит ясноглазой чистюлей
на границе природной среды.

Как заметит неместного, тут же
приосанится грудью чуток
и завяжет ровнее и туже
головной белоснежный платок.

Улыбнется, помашет рукою
и кричит: «Не робей, подходи,
угощу вкуснотищей такою,
что язык-от проглотишь, поди».

И, бывает, скиталец унылый,
соблазненный едой дармовой,
подойдет к незнакомице милой
и несмело кивнет головой.

И хозяйка половником щедро
зачерпнет из кастрюли своей
чудо-варева с запахом кедра:
«На-ка, щец-от откушай скорей!»

Пар ядреный клубится над миской,
застилает глаза, словно дым,
и какой-то мучительно близкой
вдруг покажется местность за ним,
и земля, из-под ног утекая,
превратится в туман золотой,
и охватит истома такая,
и окатит такой широтой,
что забудет чужак бесприютный
кто он, где он, откуда пришел,
и, очнувшись от грезы минутной,
вдруг почувствует острый укол
в самой темной своей сердцевине,
в самом центре колец годовых,
словно некий космический иней
рвет колонну волокон живых…

Вырос знатный кедрач за поселком,
но не ходят туда шишковать.
Почему — не расскажут вам толком,
Да и не о чем тут толковать.

БЕЗ ПАМЯТИ

волк за волком
по нижнему небу плывет
ветер воет
выпадают их души
со стуком на лед
прорастают травою

стратосфера своим
серебром далека
срыт небесный саратов
города небеса
города облака
где ваш тэн
где муратов

белых башен и крыш
аркатур и бойниц
им отсюда не видно
только лица насельников
тюрем больниц
убиенных невинно
осужденных облыжно
в высоких судах
нищих
мертвых
богатых
пастухов на лугах
садоводов в садах
трезвых
мертвых
поддатых

я оттуда смотрю
как на телеэкран
ужасаясь и скалясь
где воюет донбасс
где карает коран
где герои сыскались

говорит мне сестра
ты мне брат или волк
я сестре отвечаю
дай мне памяти в долг
дай мне памяти в долг
я по жизни скучаю

* * *

приходит смерть вручает паспорт
без записей и без страниц
шар странный с атмосферой пасмурной
не знаю с чем ещё сравнить
смерть улыбается как музыка
со всех сторон просторы тьмы
и мы на тонких ножках ужаса
свой свет выносим из тюрьмы

Надежда КЕЛАРЕВА

А МОЙ ЛЕС ДАЛЕКО-ДАЛЕКО

* * *

«…У нас на скорой,
Если авария,
Хуже всего, когда
Отброшена обувь:
Туфелька у машины,
Кроссовка через дорогу,
Значит, всё.

Дальше
Можно не торопиться…»

От набежавших слез
Плывет церковь,
Трескается голос,
Дрожит икона.

Мария
Видит сандалию,
Сорвавшуюся
С ноги Иисуса.

И обнимает сына.

* * *

Ни дать ни взять,
А только посмотреть,
Жалеть одних
И о других жалеть.

Как славно жить,
Как страшно постареть.

Чернеет лист берёзы между рам.
А остальные?
Остальные — там.

А остальные,
Кто их разберёт:
Кто набекрень,
Кто задом наперёд.

Кто нараспашку
Да в такую глушь!
Утешь, но никогда не обнаружь.

И варежка подобием листа
На ветке мается.
А где вторая?
Там.

* * *

А мой лес далеко-далеко
Вспоминает меня:
То случайную птицу пошлёт, то метелью обрушит
Утешение.
Снег —

мироточивая простыня.
Замираешь под ним и надеешься всё принять,
Чтобы стало хотя бы спокойнее,
Если не лучше.

* * *

Глаз различает: береза, сосна, осина.
Рвёшь землянику и знаешь: она утешит.
Лес подставляет заросшую мхами спину,
Чтобы ты смог покататься на кукарешках[1].

Лес приручает. Покачивает, как в люльке,
Сердце твоё, одичавшее от печали.
Пусть отоспится в шершавой тени июля,
Пусть ничего — хоть недолго — не замечает.

* * *

Глухота — это рябь на воде. Точно шутка, а горько
В ноябре покрывалом трясёт беззащитную речку,
Деревенский рыбак поднимается на дощечку
И кого-то зовёт,
Но повсюду река
И только.

Он стоит на краю, машет сизыми облаками,
Огрубевшими от многолетней работы руками,
И ему отвечают осины биеньем веток,
И дырявый сапог заливает небесным светом.

---

[1] Кукарешки — верхняя часть спины (Арх. обл.).

Сухбат АФЛАТУНИ

ОН ЖИВ

* * *

он умер

но не там и не тогда
когда под ним мерцали города
и разносилась по рядам вода

тогда был жив

и вспоминая йогу
задерживал дыхание — вот так —
и разминал немеющую руку

вам плохо? — нет
мне очень хорошо
воды? — (он пьет) — еще?

спасибо — и вода
в него втекает — холодна
стеклянна

откидывается — глядит туда
где — что это? — вон там

звезда

он жив

качается вода
на дне стакана

* * *

до́ма и стены лечат
вот — уже началось
расправились как-то плечи
усталость уходит
злость

так думал он
возвратившись
больным — но болезнь теперь
сделалась тише

когда он увидел дверь
стол — другие предметы
привычным залитые светом

тень стрекозы на стене

облако в пыльном окне

* * *

весь
как натянутая тетива

но — без стрелы

узкое тело

крупная голова
патлы

потом их состриг
располнел

стрел
так и не было —
пуст колчан

щурился в небо
молчал

стал — весь —
разболтанной тетивой

нет — почему? — живой

видел его вчера
не поверил глазам

а сам-то я — господи —
сам!

16 ИЮЛЯ

мясо несут из кухни
стоит он
глаза опустив

поешь — Иакинф — вкусно!

не ест Иакинф

идоложертвенное мясо
христианин не станет есть

поешь — Иакинф — не упрямься —
как жив-то еще — бог весть

всего-то — богам пожрешь ты
набьешь в их славу живот
поешь — Иакинф — помрешь ведь!
собакой клянусь —
помрет

но видел как-то тюремщик
который мясо носил —
как на Иакинфа ангел
венец златой возложил

глубокое римское небо
синело как гиацинт
насыщался сияющим хлебом
несговорчивый Иакинф

веселым глядел глазом —
прощай
языческий Рим!

лежит нетронутым мясо

мухи жужжат над ним

Андрей БАРАНОВ

ЭТО МЫ СТУЧИМ В ОБШИВКУ

* * *

Как космический булыжник
ледяная печка.
В опустевшем доме мышки
подъедают гречку.

Этот шорох из пакета,
звяки, бульки, вжики —
замерзающей планеты
отголоски жизни.

Чудо — это четверть водки,
спрятанную летом,
отыскать в шкафу — в подлодке,
затонувшей в Лете.

Ну, за чудо! Где же кружка?
Няня, где ты?.. Сказки
на полу вразброс, игрушки,
кисти и раскраски.

Эти шорохи и вжики,
если слышат уши! —

это мы стучим в обшивку
изнутри наружу.

* * *

Дрейфуешь по теченью, сушишь вёсла…
Желты, вертлявы листья-поплавки,
черны пустые ласточкины гнёзда
в крутом обрыве берега реки.

А в мае всё рожало и пищало,
в июле всё летало и неслось,
а ныне вон, холодные пещеры,
и что-то порвалось, как паутинка,
на ветерке дрожит и ловит солнце,
садящееся медленно за гору…

НА ДАЧЕ

Покой речной, кусты крушины,
беседка, скрытая плющом…
Весь мир, большой и нерушимый,
стоит на вере. Ну, еще
любви — и всё. Смотри: по Каме
в огнях трехпалубный с Перми!
Краеугольный вынешь камень —
и рухнет дом. И меж людьми
вот так же: вынешь человека,
проводишь, словно за плетень.

И — ничего. Фонарь, аптека,
в беседке чай, мерцанье млека.

Всё рухнет на девятый день.

* * *

Электричка на Болшево. Жарит закат.
В пыльных окнах пылают строенья,
и кусты Моисея горят, и назад
их уносит из поля прозренья.

Так куда я?.. зачем? Как змея по земле,
вьется поезд железной веревкой.
От себя ли бегу? Возвращаюсь к семье?
Северянин. Лосинка. Перловка.

И с платформы сойду. Город вымер и пуст.
Обернусь на безлюдной дорожке:
над Москвой темный облак стоит, словно куст,
прогоревший до головешки.

Игорь КУНИЦЫН

КАК МНОГО В МИРЕ ОДИНОКОГО

* * *

Свой бы дом — купил бы аппарат
самогонный, сделанный из меди
Аламбик и гнал бы самиздат
из того, что кушают медведи.

Собирал бы жимолость в лесах
и малину кислую в посадках,
ставил брагу, мерил на весах
порции, записывал в тетрадку.

Наблюдал бы, как за разом раз
самогон становится всё чище.
Так стихи поэт не на заказ
в скромном совершенствует жилище.

Так любимой женщины портрет
пишет втайне от неё художник.
Так стихи измученный поэт
(я уже писал про это) множит.

Так туман становится росой,
а любовь становится обманом.
Тяпнешь самогонки и босой
на крыльцо выходишь со стаканом.

* * *

Зал затих и свет погас.
Начинается сеанс.
На экране мир знакомый:
в палисаднике ирга,
на площадке возле дома
затевается игра.
У меня в руке рапира —
ветка с крышкой от кефира.
Я машу ей только так.
Мой противник просит мира,
поднимает белый флаг.
Пролетает сорок лет.
Побеждённый друг мой, где ты?
Я сдаюсь тебе. В ответ
ни ответа, ни привета.
Мне сказали, он в больнице,
а в квартире был пожар.
Я пошёл домой молиться.
По ночам мне часто снится
одинаковый кошмар.

* * *

Поднимаясь по лесенке,
и спускаясь назад,
оттирает от плесени
провода космонавт.

И, скользя в невесомости
из отсека в отсек,
говорит: «Не по совести
на земле человек

поступает и думает,
что не видит никто.
Телескопами с лупами
ищет в небе не то.

И глазами солёными
озирает не те
уголки отдалённые
в ледяной темноте».

* * *

В эфире передали, что подснежники
пятнадцатого марта зацвели.
И воздух свеж, как юности безбрежные
желания. Но юность на мели.

Но юности мечты как белоснежные
подснежники в проталинах лесных
и городских пугливые и нежные
не представляют жизни без весны.

Лёд трескается громко над ручьями
и тает в переполненных ручьях.
И синее от края и до края
деревья держат небо на плечах.
И солнце как желток на сковородке
по небу растекается, горя.
И так светло, как будто выпил водки
под фонарём и всё до фонаря.

* * *

Перелистывал газеты,
перечитывал журналы,
попадались мне поэты
незнакомые, бывало.

И весёлые и злые,
и печальные поэты,
молодые, пожилые…
Я любил их не за это.

А за то, что в каждой строчке
было что-нибудь живое —
голубые лепесточки
или чувство роковое.

В растекающемся дыме
по столу от сигареты
становились мне родными
те далёкие поэты.

Обрастали именами
те поэты, в кухне дым
до рассвета над стихами
плавал облаком седым.

* * *

Глубокие стихи Набокова.
Мне больше проза по нутру.
Как много в мире одинокого.
Деревья гнутся на ветру.

Какое счастье быть непонятым,
ни слова не произнося,
смотреть на улицу из комнаты.
как в невесомости вися.

Вполне достаточно осеннего
дождя, но лучше без дождя.
Могу писать без опасения
на листьях падающих я

любую правду и неправду.
Никто не пустит их в печать.
Как здорово, когда не надо
чего-то требовать, кричать.

Стихи Набокова должно вам
зайдут, их детская печаль.
На листопад заворожённо
смотреть и вечности не жаль.

Ефим БЕРШИН

ИСЧЕЗНОВЕНЬЕ ГЕОГРАФИЙ

* * *

Беспокойный выблядок пустынь,
камень человеческого рода —
Господи, я тоже чей-то сын.
Просто затерялся средь осин
в чреве персонального сугроба.

Из-под рук уходит ремесло.
Жили-были. Выжили. Но вместо
озера — разбитое стекло,
голая равнина из асбеста.
Господи, куда нас занесло?

За какой случайный поворот?
По какой затейливой спирали?
Я украл или меня украли —
кто его сегодня разберет?

И свистят за лесом поезда,
словно стрелы из тугого лука, —
в никуда уходят, в никуда.
На хвосте оставленного звука
одиноко плещется звезда.

* * *

Памяти мамы

Собака лает.
Ветер носит.
Луна бежит на поводке.
Внезапно выпадает осень,
гадая ливнем по руке.

И клен, лишившийся убора,
метлой гоняет лунный челн.
И жизнь, калиткой без забора,
скрипит неведомо зачем.

А что нам надо было в мире?
Заполнить пустоту листа?
Я тоже в придорожном тире
когда-то мазал сто из ста.

И, слава Богу, — шиш в кармане,
вода в ладони да тоска
внезапная, как мысль о маме,
уснувшей посреди песка

в чужой измученной пустыне,
где царствует верблюжий зной,
и память о заблудшем сыне
едва влачится за страной,

где нет ни осени, ни снега,
ни ливня, чтоб ночами лил.

Одно расплавленное небо
лежит на выступах могил.

Две жизни в их пути недлинном
пытаюсь нанизать на нить.
Но это небо с этим ливнем
мне не дано соединить.

* * *

Я воровал березовые чурки,
и соскребал с коры сосновый клей,
чтобы в огне обшарпанной печурки
моей осине было веселей.

И словно растревоженные мысли,
где каждая по-своему права,
чернильным дымом из печи, как мыши,
бежали в небо мокрые дрова.

Я жил, нигде не прикипая к месту,
и руки примерзали к топору,
когда, скрипя, торжественную мессу
осины совершали поутру.

Я жил в краях, где из-под ледостава
бездомные ломились топляки,
но злая, подозрительная слава
брела за мной вдоль берега реки

и темным лесом, тропками прошитом,
где, не предав ни Ягве, ни Христа,
я шел снегами Вечным русским Жидом,
и мне во след свистели поезда.

А впереди, отмеривая даты
и километры, плелся зимний лес —
как Моисей, седой и бородатый
и как Христос, вернувшийся с небес.

ТРИПТИХ

1

А мне господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где — запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах,

под бесконечным ливнем октября,
по осени, по прошлогодней гнили,
мне черт — не черт,
Вергилий — не Вергилий,
а впереди — ни дна, ни фонаря,

ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.
Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисуя схему жизни на песке.

2

Зачем дорога, если нет конца дороги?
Для чего в краю осиновом,
играя роли сына и отца,
не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,

ни мастером, ни глиною? Зачем
продрогшим псом под бесконечным ливнем,
изнемогая от житейских схем,
бежать стремглав за журавлиным клином?

Свободы нет!
Незримый поводырь

меняет вечность на часы и годы.
Но горизонт, изъеденный до дыр,
еще таит иллюзию свободы.

3

Как хочется на круге на шестом
или седьмом, когда иссякнет вера,
остановиться, возвратиться в дом
и в дураках оставить Люцифера.

Но нет уже ни дома, ни крыльца
в пространстве, где ни выхода, ни входа.
Как сладостна, как гибельна свобода,
лишенная начала и конца.

Ревет огонь. Изнемогает ночь.
И прямо посреди кипящей бездны,
выламываясь из привычных нот,
безумствует симфония победы.

Елена ЛАПШИНА

В ПОЮЩЕЙ ВОДЕ

* * *

В престранной сумятице — по-над страной
по блюдечку катится глаз наливной:
то горы, то реки да рак под мостом,
песчаные береги — на этом, на том —
варяги да греки в песке золотом.
То сон имярека, то смута, то мор,
то заячий посвист да волчий простор…

И сице царевна в распалине дней:
что воля для ней, что неволя для ней, —
лишь голос всё глуше да волос длинней.
И бродит, и бредит — маячит в окне:
не Грека ли едет на верном коне?..
В косице проблёскивает волосок,
и кус ей несладок, да терем высок…
И всё ей глядеть да выслушивать весть —
ни сердца, ни ситцу насельнице несть.

* * *

Под окном — снежок,
под снежком — ледок.

А под ним — храним
золотой следок.

То ль грусти-пусти,
то ль — хватай коньки.
По всему пути
стынут огоньки.

Нощь идёт — не зги —
с тоски тронешься.
А во след беги —
не угонишься.

* * *

Щебет в потёмках памяти — птичий прах.
Шепчет, лепечет, плачет сплошная нощь.
Шаришь в её пещерах, её шатрах, —
всякую вещь на свету превращая в дождь.

Манишь её, обманываешь, зовёшь,
то ковырнёшь, как денежку из коржа.
Тащишь за краешек ветошь — и всё же рвёшь.
Тронешь — железо, вытянешь — та же ржа.

И покидаешь, глядя через плечо,
прошлого опустевшее шапито.
Шепчется, плещется: всё ещё, всё ещё… —
там, где уже никто, никогда, ничто…

НЕМО

В поющей воде, зависая внизу,
застывшей соринкою в круглом глазу

ржавеющей рыбы плывёт не домой
мой сумрачный Немо, извечно немой.

И ластятся рыбы к стеклянным кругам,
к его золотым заоконным рукам

сплетённым… И, тонкую ткань теребя,
он будто бы сам обнимает себя.

А ветхая вечность почти истекла…
Он смотрит, как рыбы, касаясь стекла,

зевают, а, может, зовут: догони!..
Но кажется Немо, что немы они.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю, баю, — напеваю — о-лей-ли!
Для кого то птицы гнёздышко сплели?

Сладкий ветер полуночный, тише вей, —
кто-то зыбочку подвесил меж ветвей?

Только в гнёздышке ютится не птенец —
спит сыночек, спит мой ясный первенец.

Баю, баю, это феи, о-лей-ли! —
Разлучили — в лес малютку унесли.

Всё играть да веселиться будут с ним.
Станет мальчик мой царевичем лесным.

О-лей-ли, лей-ли, баюкаю-пою —
вспоминай, сыночек, матушку свою…

Собирают феи травы-лепестки,
мастерят тебе кафтан и башмаки,

пошивают, напевая и шепча,
крылья тонкие из лунного луча.

Будет впору и к лицу тебе шитьё, —
беззаботное, привольное житьё.

Тёмный лес шумит, качается вдали.
Спи, сыночек, баю, баю, о-лей-ли!..

* * *

Сны мои раз от раза всё безнадежней.
Выйдешь с утра во двор, поглядишь обаче, —
нет, не проснулась: воздух и морок здешний,
всюду просевший снег, кренделькн собачьи.

Знать бы наверняка, так гори — не жалко.
Сдюжу-таки, поокаю, посижу тут.

[Вот бы и мне в девичестве сесть за прялку,
яблоко съесть, а далее — по сюжету…]

Пальцем не шевельну [рыбья кровь — водица], —
принц белоконный будет ломиться в двери.
Без поцелуя, только бы пробудиться.
Не по делам, пожалуйста, но по вере.

Ксения АКСЁНОВА

Я БУДУ ТАМ И ЗДЕСЬ

* * *

Ничего не останется кроме прозрачного сада,
безучастно плывущего в замершем
птичьем зрачке.
Неизвестно, откуда он взялся, но я ему рада.
Это призрачный остров скользит
по высокой реке.
Мимо света дежурных аптек,
над излаянным ветром
он парит, замирая, и если прищуриться, то
разглядеть удаётся деревья, цветущие щедро,
птиц с глазами людей и тела
недозревших плодов…
Всё, что чудилось до, напоследок проявится ёмко,
память, остановившись,
нелёгкой помашет рукой.
Но закрою глаза — и как будто
в замедленной съёмке,
сад плывёт и плывёт в объяснимой
тоске городской.

* * *

Заговорить о призрачном родстве
полночных птиц, букашек и растений,
о том, как шелестит глухая темень,
как зреет в затаившейся листве
звук горьковатый, вяжущий на вкус.
В такой листве получится расслышать,
как тонкий ветер делается тише,
как не шумит задумавшийся куст…
Заговориться, но не рассказать —
а только слушать, голодно вбирая
весь этот сад, зеленоглазый сад,
молчащий дальним отголоском рая.

* * *

Беспамятье, неси меня скорей
сквозь эту ночь, сквозь каменных зверей.
Я двигаюсь рывками, наугад
шагаю сквозь себя, взмываю над
надуманной тоской о небылом.
Таким, как я, даруется облом
и всё, что причитается к нему,
чтоб я надёжно падала во тьму.
Там ветер света раздражённо жёлт,
там никого никто не бережёт
и не хватает за руку, когда
над головой смыкается беда.

* * *

Мне плохо, но это хорошее «плохо»,
хорошее «плохо», где «всё хорошо»,
как выдох за долгим прерывистым вдохом,
как свежий, но зарубцевавшийся шов.
Не думать о быстрой работе хирурга,
а только дежурно глядеть в потолок —
в чешуйки полопавшейся штукатурки
глядеть и вести не с собой диалог,
а с бабочкой, выцветшей на паутине,
плывущей сегодня в ином бытии, —
безропотным трепетом кожи жасминной
она отвечает на вздохи мои.
И длится покорней больничное время,
баюкая страх, забирая слова.
Но сквозь непролазную липкую темень
мне чудится — бабочка снова жива.

* * *

Только вот без жалости к себе.
Сделай путь из пункта а до б,
обойдись без медленной возни.
Сделай путь, а дальше — спать усни.

Сколько ни кружиться над собой,
ни ходить с закатанной губой,
ничего не просится на ум,
вместо слов — растущий белый шум.

А потом ложишься помолчать,
снится вёрстка, сданная в печать.
И встаёшь искать в строфе сырой
путь от первой строчки до второй.

* * *

Разве кто-то объяснит
то, чего нельзя понять,
то, что память леденит,
поворачиваясь вспять.
Всё, что хочешь превозмочь,
этот век и этот ад,
этот плач, стоящий над —
повторяется точь-в-точь.
То, что заперто внутри,
то до корки запеклось.
Ты смотри не посмотри
в самого себя насквозь.

* * *

Расслышав эхо давнего ожога,
я выйду продышаться ненадолго.

В наивный сон, в его глазной разрез
перемещусь. Я буду там и здесь.

В большом зрачке, как в зеркальце трамвая,
найду себя, себя не узнавая.

Я не уйду, пока не надоест,
пока не спросят платы за проезд.

И горизонт покроется холмами,
и тишина насытится словами.

Надя ДЕЛАЛАНД

ТО ТЫ УСЛЫШИШЬ, КАК СМЕЮТСЯ ПТИЦЫ

* * *

часа в четыре если пробудиться
то ты услышишь как смеются птицы
весенним смехом там в голосовом
они возможно ухали совой
глаза закрыв в которых бродит ртутно
ресницы задевая светом утро
из-под опущенных растущее ресниц
но ты заснул и не услышал птиц

* * *

наши высшие я на облаке
сидят
болтают ногами
едят яблоки
смеются
говорят
а ты
а я
а мы
посмотри

как ны
смешмы
яблочный сок летит изо рта
падает вниз
ему не страшна высота
забрызгивает нам щеки
прости меня
о еще бы
спорим мы справимся с этим квестом
умрем но воскреснем
делаем ставки смотри
я тебя поцелую
нет не смогу
но видишь ты меня любишь
конечно люблю
хохочешь и скидываешь огрызок
эй кричим возмущенно мы снизух

* * *

в сумерках я и сама начинаю смеркаться
что-то в глазах как в камине то вспыхивает то гаснет
может быть свет отраженный от мимоидущего счастья
или несчастья
там за ресницами снятся мне горы и реки
легких снежинок трагический хор над обрывом
мне хорошо одиноко светло молчаливо
четко и резко
трогаю камень шершавый роняю наушник
в нем продолжает огромное небо орлинский
вижу как лестница выросла в высохших листьях
свежих наутро
можно шагнуть за наушником в небо и голос
можно проснуться а можно дослушать а можно
выйти на улицу в бледно забрезживший дождик
или другое

* * *

он пахнет одиночеством и снегом
наклонившись пролистнуть
то каплю обнаженную то рыбу
касается колена старается чередовать
прикосновения и неприкосновенность
он сам немного рыба-капля
из глубины себя доставшийся себе
со мной на воздухе и солнце
ему неловко непривычно
но он старается и я стараюсь
но мы стараемся чередовать
прикосновения и неприкосновенность
и в этом ритме движемся к метро
мы старые нам где-то сто пятнадцать
а здесь нам может быть лет десять на двоих
нам ничего не нужно друг от друга
прикосновения и неприкосновенность

* * *

и тут мне пришел снег
простил прегрешения
послал утешение
череп коня вещий олег
тихо смеясь обнявшись лежат в снегу
не наступи на спящих
а я могу
не прикасаясь
пройти по их головам
нет не мертва но и не вполне жива
снег меня ждет собирай говорит все
мы унесем
я говорит за тобой говорит шел

я целовал ботинок и капюшон
ты говорит моя
а давно
давно

* * *

Он поворачивает лицо и в нем столько любви
что некоторые принимают ее на свой счет
между тем он просто поворачивает лицо
говорит я слышу тебя говори
говорит говори я слышу тебя и руку твою держу
вижу тебя и не отвращу лица
буду с тобой до конца плакать с того конца
этой вселенной на тот

* * *

Т. П.

ты пришлешь мне открытку с улицы близнецов
чтобы я поняла что ты существуешь
что я помню прекрасно правильное лицо
на котором написано радуешься тоскуешь
умираешь от скуки злишься не смотришь в кадр
я иду за тобой по снегу и мне не скучно
хорошо что открытку держала твоя рука
настоящая потому что

* * *

Вячеславу Попову

быстротечные окрестности
сквозь аквариум окна
оставляют след растерзанный
в глубине глазного дна
я видна им капиллярами воспаленными без сна
я прозрачна им я призрачна я везде растворена
кадры окон кинокамерно вспыхивают по бокам
солнце трогается лапкою нежно-нежно и щека
покрывается влюбленностью розовой издалека
локон вьется удивительный удивленный у виска
две пушинки кружат кружатся
разлетаются летят
ужасом объяты бабушка
с дедушкой напротив спят
зиму слушают в наушниках
человек примерно пять
я прозрачна им я призрачна я невидима опять
солнце сядет в ветки черные
загорится тонкий куст
пусть он шепчется и щерится и читает наизусть
ветхий свой закат замедленный
наста скрип и ветра хруст
пруст и фрост летают светятся
замирают фрост и пруст

Константин КОМАРОВ

С ТЕХ ПОР, КОГДА НЕ СТАЛО БОЛЬШЕ СМЕРТИ

* * *

Натуральна асфальта натура,
по нему ходишь ты меж людей,
архаичный, как архитектура
древнеримских сырых площадей.

Ты — зашатанный бродишь, заштатный —
не тебя манит белый отель.
Одиночеству гулкому кратный,
выпиваешь свой скудный коктейль.

Завершения ищещь, прощанья,
моментальный ментальный финал,
но никак не сгорит завещанье,
где ты подпись свою не узнал.

Ты — лишь атом на свете на этом,
лаборант лабиринтов глухих,
сам себя называвший поэтом,
посреди серых улиц нагих.

Так крути же немые педали,
упадая в могильную мглу,

чтобы всё, что тебе недодали
к дорогому подали столу.

Чтобы сжалилась старая парка,
видя как — сам с собой вдалеке —
посреди бесконечного парка
ты в дождливом стоишь парике.

* * *

С тех пор, когда не стало больше смерти,
пугать рассогласованностью фраз
мне некого: здесь слишком много смелых,
но смелость вся выходит напоказ.

И всё идёт достаточно цивильно,
дрожат кулисы, заняты места,
но грифель проникает в сердцевину
обычного тетрадного листа.

И циферблат с улыбкою акульей
глядит в глаза уснувшим, в темноту,
и между строчек гулкие лакуны
слова глухие держат на лету.

Так сумрачно, так далеко от века,
так ненавязчив ядовитый пар,
и быть немного больше имярека —
последний твой случайный гонорар.

И вроде больше незачем пластаться,
и можно тихо лечь ни для кого.
Но не прощает этого пространство,
а время — не прощает ничего.

* * *

Лирическая дрожь пульсирует в гортани,
а чёрта ли с того беспечным облакам,
я мир очередной сквозь рифму прокартавил,
и тотчас этот мир пустился по рукам.

Я так давно не брал горячие ладони
в остывшие свои, в отжившие свои,
я херю бытие на тысячи агоний
и раз за разом их пластую на слои.

Чего тебе ещё от неуклюжей глотки,
твердящей невпопад о бешеных любвях,
тягучим шепотком шершавым и негромким,
который чудом лишь навечно не обмяк.

Что это как не вновь дешёвое кокетство,
простительный вполне поэтовый каприз,
ноябрьской грозы безбашенный оркестр
взрывает мой висок и тянет на карниз.

Но нафиг и его: карнизов слишком много,
почти как сигарет, в моих кривых строках,
такой бесплатный сыр: сначала метишь в бога,
а втянешься и век кукуешь в дураках.
И некого жалеть. Кого тут пожалеешь?
Меня ли или мир, обремененный мной?
Не худший вариант подохнуть поживее,
желательно бухим, желательно зимой.

Жевательной, а то стирательной резинкой
сжевать пустую жизнь и время с глаз стереть,
мне каждый божий день безбожно шлет визитки,
суёт их между строк придирчивая смерть.

И тыкаясь душой в колючую ограду
обмыленных словес, где всё так по уму.
Я понимаю, что меня тебе не надо,
таких вообще уже не надо никому.

Встаю босой стопой на вечности осколок,
уже не глушит боль очередная смесь.
Кто спросит — передай: меня не будет скоро.
Скорей всего — нигде. По крайней мере — здесь.

* * *

Ты хотела про нас?
Нас опять посылают за смертью,
не учтя лишь того, что мы сами себе палачи.
Плачь, кричи, матерись, истерически смейся,
разбивай зеркала, только — нет —
не молчи, не молчи!

Картография местности этой неправдоподобна,
здесь ландшафт провисает,
но сильно пружинит рельеф,
топос сумрачен, но мы маршрут
изучили подробно,
коль дойдём, станешь там королевою из королев.

Ну а я, как всегда, распластался
по рифмам кальмаром
и готовлюсь вещать да бумагу собой угощать.
Я карманы держу широко,
только дыры в карманах,
и поэтому ты иногда меня можешь прощать

за упёртость мою, за летальную дозу наива.

Я торчу из пустот бытия,
как из грядки — морковь.
Время сходит к нулю.
Мальдорор улыбается криво,
ближе к ночи пойдём,
а пока спой мне песню, Марго.

Без тебя в тех краях мне не светит найти ничего.

Евгения Джен БАРАНОВА

СТРАХ И ЗВЕЗДЫ

* * *

Он говорил:
«Возвращайся из Питера,
скажешь — пойдем на Вернадку,
будем слоняться, как наши родители
по первомайской брусчатке;
ты хороша, как форель золотистая,
как белоплечий орлан.
Будем наивны и будем неистовы».
(Мне это кажется, мам?)
Он говорил в подмосковном автобусе:
«Съездим хотя бы в Рияд».
Я замечала, как светлые волосы
в синем закате горят.
Я замечала, как лоб его хмурится,
родинок след пулевой,
как из-под снега пустынные улицы
сонно блестят чешуей.
Он говорил о Толстом и Набокове,
о Куприне — никогда,
об альпинистах в заброшенном логове.

Я его слушала, да.

РЕВНОСТЬ

электрическая птица
все летит летит летит
и никак не приземлится
и никак не заземлит
ты не мог бы впрочем мог бы
я кого из нас боюсь
на ковре круги и ромбы
вырабатывают грусть

я реактор я ревную
я ревную я реву
разговоров ледяную
нить никак не оборву

вязнет вязнет птичий коготь
электрон друг дружку ест
ради бария святого
превращайся сразу в текст

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Подошвы оскользнуться норовят.
Здесь берег и зубаст, и тороват
на ржавчину и солнечные споры.
Здесь люди умирали заодно,
и конница сносила их в кино
советского большого режиссера.

И церковь златокудрая цвела
на черепе сожженного дотла,
и грезила Цветаева Тучковым…

Тысячелистник, сабельник, чабрец.
Ребенку утомившийся отец
несет образовательное слово.

Богиня битв, прими мой тихий стих
за тех, кто под копытами затих,
за тех, кто был не волен или волен!..
Оранжевая вечная звезда
глядит на травянистые стада
и щурится над миром или полем.

РОДОСЛОВНАЯ

Один погиб, другой расстрелян,
седьмой за хлеба воровство
пострижен наголо. В постели
не причащали никого.

Татары, русские, евреи
рыдают, охают, скрипят.
Бредет по матушке Емеля
глазами в ад.

А я тут что? Хромой излишек?
Меня не ездили плетьми,
не жгли допросами. Кто выжил,
тот обзаводится детьми.

И вот я существую. Хрупкий
неразговорчивый тростник —
ловлю в стакане сухофрукты,
давлю гармонию из книг.

И вот я женщина (морщины),
я еду к тридцати шести.
Какой остаток звездной тины
мне полагается смести?

* * *

Человек за розовым выходит,
человеку странно одному.
У него кристальная решетка
прохудилась, атомы звенят.

Он идет (за лесом через поле),
он идет (проспать бы/продержаться),
смотрят на него глаза подвалов,
пластиковый повар говорит:

— Заходи, у нас сегодня манго,
лаковые овощи в избытке,
здесь таких, как ты, пускают к маме,
в долгий отпуск, в бабушкин сундук.

— Не могу, — он отвечает, — рано.
Я несу котенку пух и перья,
у меня под сердцем страх и звезды,
не хватает розового лишь.

Вадим МУРАТХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ «ПОРТРЕТЫ»

ШИШКИН

— так зовут его
даже самые близкие люди.
Автор двух недописанных фривольных поэм
и фирменной рыбы в духовке.

То ли мы постепенно растем
на скучной работе,
то ли он опускается ниже
и носит с трудом
знаменитую синюю сумку.

Он идет, не спросясь, в кабинеты друзей,
(о прошлом — ни слова,
словно только что вышел из прошлого),
чтобы каждый с ним выпил
за здоровье доступных теперь лишь ему
участников юности.

ЗИНА

Она помнит,
хранительница историй,
как ходили по коридорам маститые зубры,
оглашая раскатистым смехом
стены редакции.
Ей одной теперь памятны
их споры, привычки и почерки. А племя младое —
лишь выгодный фон для теней.

Новички —
безотказные слушатели —
в один из дней набираются смелости
перебить ее, извинившись,
и навсегда отдалиться
от заговорщицкой детской улыбки
и пытливого взгляда
сквозь толстые стекла очков.

Ненавидит ремонты.
С каждым разом все меньше
остается на стенах участков
с прежней символикой.
Все реальней опасность
быть случайно сметенной в совок
среди пыли переустройства.

МИША ЯКУБОВ

Чернобровый лысеющий мальчик
с испуганными глазами.
Длинными студенческими днями
подвергали мы испытаньям
твою нездоровую душу.

Терпел, бессильно смеялся,
непослушными пальцами
ставил чай
и потрескивающую пластинку,
лишь спиртные напитки запрещая
хозяйской попранной волей.

Шли часы. Твой рассудок катился к закату.
К нервам гитары,
якобы в шутку,
прикасались пальцы Андрея,
приглашая твой сдавленный голос
к импровизации.

«Водки нет, и пива нет.
Шишкин ходит во дворе.
Ищет водку, ищет пиво,
а оно все криво, криво…»

САША КИРИЯЦКИЙ

Кто откроет пытливому юноше
Овидия и Горация,
если не он —
поэзии Наполеон,
низложенный многократно.

Очками на римском носу
не затуманены цели.
До первой измены —
невинные дети
его офицеры.

Они, что речам вдохновенным внимали
и радовали,
разносят теперь недостойную славу
о бедном своем императоре.

Ничего, опять по пескам надежд
пойдет он нежными пятками.
Мир тысячелетний над головами невежд
раскрасит цветными пятнами.

Ибо его устами, его перстами
италийские правят свирели.
Ибо каждая строка
предсмертной станет
в захлебывающемся стихотворении.

В захолустном госпитале
мать угасает,
мимо снуют манекены.
Долго еще не сойти с Земли —
пустынной Святой Елены.

ДЖЕК

О железо гулко ударившись, мяч
предательски жался
к щели под воротами,
чтобы в темной сырой конуре
не залежался работник.

То на задних лапах тянулся
в атаке неистовой,
то внизу неестественно близко
высовывал черную голову,
растирая слюну на пыльном асфальте.

Босоногий смельчак замирает на миг:
цепь коротка,
но как бы нога не застряла
в пасти клыкастой.

Однажды исчез.
Под солнцем яркого детства
не прерывался футбол.

Объявился болонкой,
потом под машину попал
и долгие годы по улицам бегал, подпрыгивая,
смешной и сердитый…

Евгения ИЗВАРИНА

О ПАРУСЕ ПУСТЫНЬ

* * *

В почти отечестве пророка
почти пуста
надежда — запада, востока,
сохи, холста,
ножа, пожара, диких сплетен,
благих тревог…

Чтоб день остался неприметен,
смотай в клубок
длинноты, радиочастоты —
авось, трезвы
паучьи тонкости охоты —
на струн узлы…

* * *

О человеке есть замысел птичий
но разгребёшь мишуру —
между потерей и даром отличий нет,
в рукодельном миру
шито ли, крыто, узлы ли по нитям
вяжутся — век не забудь,

бегство — язык, и на нём говорить нам —
как дорассветную муть

плавить, следить за серебряным тестом,
как проливать в облака
сны — о забывшем себя,
неизвестном,
но — человеке пока…

* * *

Молчим —
где и свет, себя в толк не беря,
землист, неотёсан,
скрипит скорлупа, сквозь озноб сентября —
ни выхода осам,
ни входа; туда, где как будто за кнут
схватился хозяин,
столпы полусна-полублеска бредут —
кентавры окраин…

* * *

Кочевья крючковатая игла,
боль облака над руслом без реки
в орнаменты, в пергаменты вплела
не те же ли пожарищ языки?
Не так же ли ветра верёвки вьют
из капель, волн: бесследно растворим,
уклончив, околпачен тот уют —
и облучён участием Твоим…

* * *

Тяжбы с проклятой когортой за шеврон… —
нагадай им, грошик, стёртый с двух сторон:
или выпытает в спорах жребий свой
у снегов высокогорных — городской
снег под ржавчиной шершавой,

или стыд —
жалкий, ложный, залежалый — воспарит?..

* * *

В году — весна, в лазури — жжения
разливы,

…лебеди — где наскоро
отбеливают отражения
свет, и отвесное — распластано,
ниспослано необъяснимое,
жизнь — о Петре, а смерть — о Симоне
тревожатся,

не подтверждая нам
в державном смысла — и в рождаемом…

* * *

поздно
знает Бог
для каких морок

вот и сбитым с ног не резон а срок
обживать завет неизвестно чей

отражённый свет лабиринт лучей
в неживой воде через поле зван

поищи им где хлынул бы дурман
через рукава или белена

одолень-трава
с головой
волна

* * *

Лето вернётся —
…в молитвы реки
ночью, где наши вросли двойники
силой — в солей и оскомин скелет,
святочный, тысячный, сотый — где свет
белый — клубится вороньим гуртом:
есть где, к себе прижимая, потом
приотпуская безумия кладь,
как в снегопаде, тонуть — и всплывать…

* * *

Жжёт уголёк:
не зная ни аза — нас
миг уберёг,
размолотый, казалось,
лавиной лет,

и тщетны сны, и тощи
на снег
и свет
распавшиеся рощи…

* * *

Не голос чище, но крыла острее край:

до взмаха — сумеркам руки не подавай,
до срока музыке забот не уступи —
о снах на привязи, о сердце, как в цепи
звене разомкнутом — пока вовлечено в игру;
о картах, через силу ничего
не говорящих, перед кем их ни раскинь,

во встречном времени — о парусе пустынь…

Сергей ЗОЛОТАРЁВ

ФРАГМЕНТЫ ВОДНОЙ ГЛАДИ

* * *

видишь птиц? какою тоненькой
проволокой костяка
пробка жизни держит стоика
от игристого хлопка

разве, мы с тобою сослепу
можем дел наворотить —
отвязать пространство с осликом
(как единственную нить

что еще могла подрагивать)
и реальность как портки
разошедшегося трагика
упадет под взмах руки

* * *

всё в плачевном состоянии
получается из слез
состоят мосты и здания
и крепления колес

уличное освещение
к ночи сделалось теплей
не от красного смущения
а от розовых соплей

если сердце разрывается
это с некоторых пор
верный признак что из варницы
взят насыщенный раствор

всё в чем есть хоть капля жалости
созидает новый клей
из солей и побежалости
из разводов и люлей

между стервами и лярвами
что-то общее нашли
от расстройства биполярного
оба полюса Земли

раньше было много плакальщиц
нынче время продавщиц
лакримозу точно лакомство
гонят из-под половиц

называли в детстве тыблоком
яблоко и вот теперь
предстоит деревьям выплакать
нас и выставить за дверь

чтобы сами в новом качестве
перешли с судьбой на вы
не смотря на сварку плачется
так что лопаются швы

* * *

книгу читал, глаза
вооружив очками
севшая стрекоза
сделалась мочекаменной

острого зренья резь
вызвав как озаренье
весь ее облик весь
соткан из этой рези

крылышки стрекозы
связаны из тончайшей
проволоки — в разы
чище любви и чаще

воздух пустой уходит
в крупную ячею
взмах — и как будто Оден
пристальный Уистен Хью

на стрекозу накликал
сеть лицевых морщин —
просто нагнувшись к книгам
сразу по швам трещим

взмах её полный рыбы
воздуха — не улов
но что поймать могли бы
если бы вместо слов
чувствовали изгибы

чем я судьбу прогневал
чтобы держать в глазу
словно рыбацкий невод
образа стрекозу?

но задремал заслушался
книга лежит в ногах
чтение — это лучшее
стоило ли вникать
глубже?

* * *

выдыхают землю одуваны
сразу в виде мыльных пузырей,
формируя целые туманы
из гуманной миссии своей

белое пуховое дыханье!
человек закашлялся бы вмиг,
накачай воздушными мехами
легкие его какой из них

человек закашлялся бы — плевру
вывернул как чистое белье,
что купил в Италии за евро
расцветить болотное гнилье

но Земля использует пустоты
деревенских кладбищ, городских,
чтобы выдыхать большое что-то
белое в присутствие родных

пусть туман находчив и обманчив,
главное что поля проводник —
этот облетевший одуванчик —
к верному источнику приник

* * *

недаром озеро сегодня
так пахло рыбьим жиром
скользили поручни и сходни
все в масле — быть бы живу
так пахло что хрустальный череп
акации как в воду
опущенный пролившись через
края пропал из виду
врачебный утренний консилиум
был не уполномочен
и рыба полная бессильной
икры стояла молча
и рыба сдавленная всею
обидою во взгляде
рожала в водном Колизее
фрагменты водной глади

Юлия ДОЛГАНОВСКИХ

Я В ЗАГРОБНЫЙ МИР НЕ ВЕРЮ

* * *

я в загробный мир не верю
и в загробную войну
что за той невзрачной дверью
что за той прозрачной дверью
не тождественной окну

под торжественные речи
что читаю по губам
поплыву я в недра печи
даже знака не подам

но под шёпот безымянный
не сгорает посмотри
этот ящик деревянный
с колокольчиком внутри

* * *

любой рыбак немного и апостол,
освобождая рыбу от крючка
и в плаванье её пуская по столу
от края и до края. коротка
дорога рыбья, рваною губою

стол кровянит она, и потому
рыбак ей скажет, бойся, я с тобою,
не бойся, я с тобою потому.

* * *

Хрусти сухим, срезая звук-бутон,
подхватывай канон закрытым ртом —
живое жалит, мёртвое тревожит
тем тяжелее, чем быстрей до дна,
да велика ли улья глубина,
прочна ли бесхитиновая кожа?

Падение смягчит густой ковёр —
несобранный целительный подмор,
ещё до окончания сезона
нападает порядком хрупких тел
поверх меня, и кто не улетел,
но выжил, не коснутся аллохтона

из суеверия. Варись в одном котле —
что пользы в твоём сухоньком крыле,
что яда в пальцах острых, узловатых —
течёт медовый дух, кипит отвар —
и смерть, простой языческий товар,
провизору приносит гонорар,
а может, смятый счёт за неуплату

аккордного налога. Хочешь — пой,
и медоносная поляна за тобой
раскроет докрасна больные горла,
а и молчи, катая языком
прополиса прогорклый, клейкий ком,
внутри чужого заколоченного города —

едино всё. Подмор, отвар — и ничего
иного или просто своего
в гетероморфном улье не сыграет.
Засахаренный, зачерствевший год,
и капля остриём наоборот
над ним встаёт — живая, кровяная.

* * *

Ты никогда не вернёшься,
говорит Мандельштам.
Щурится, прикрывает от солнца глаза
Георгий Иванов —
мы увидимся, Осип, скоро,
когда-нибудь, где-нибудь, там —
и табак сухим ручейком течёт из его карманов.

Этот странный и страшный цветок табака,
этот дым прогорающей, хрусткой газеты
за вчерашнюю жизнь, а пока, а пока,
обжигая гортань, рассыпается лето —

на цветы, на траву, на кусочки земли,
перетянутой стриями, как после родов.
И тяжёлой поступью корабли,
заливая глазницы, уходят под воду.

Александр КУРАПЦЕВ

УЛИЦА ПОКРЫТА ЛЬДОМ

* * *

Есть у человека за душой
тоненький зазорчик небольшой,
в коем умещаются едва
слова три, а может быть, и два —
эдакая спрятанная суть.
Если нить оттуда протянуть,
если после потянуть за нить,
и слова заставить говорить,
выпустить два эха или три,
тесно помещённые внутри,
выйдет голый полый человек
или только сны, туман и снег?
Снег и сны, и нечто в облаках,
не произносимое никак.

* * *

снежок лежит на улице снежок
лежит не дышит никого не слышит
такой прохладный ладный и большой
почти как взрослый снег но только тише

ему ещё расти ещё крепчать
плясать беситься в белой круговерти
и всяких проходящих помечать

и липнуть и молчать о тёплой смерти
и ты спросонья выскользнешь как тень
во двор и снегу сразу весь приснишься
войдёшь в его пронзительную темь
и в белый камень тут же обратишься

* * *

это время обуянных
окаянных снеголет
было стрёмно было странно
стало холодно в тепле
выходить наружу поздно
бытие мелькнуло вскользь
там колючий ржавый воздух
протыкающий насквозь
там зима стоит в проходе
и вручает по беде
там крошится и выходит
вся земля из-под людей
и они сучат ногами
различимые едва
вперемешку со снегами
натыкаясь на слова
и они руками машут
именами шелестят
растворяясь в снежной каше
и обратно не хотят

* * *

зимой грибы гнездятся в грибниках
растут сквозь сны в лукошках и корзинах
и говорят на разных языках
о зимней смерти о несмерти зимней

и пахнут прелым небом и дождём
сырой землёй грибным ядрёным потом
скользят ползут зовут пойдём пойдём
вовнутрь вглубь на вечную охоту
спускаются с пригорков и горбов
в подспудный лес туманный и нечёткий
и собирают там грибы грибов
и жарят их в ментальных сковородках

* * *

улица покрыта льдом
я иду по ней с трудом
книгочей и рифмоплёт
ухожу по ней под лёд
там такие брат дела
там зима давно прошла
там пшеница колосится
там подлёдная москва
будто бывшая столица
не нова никакова
и шевелится едва
а вверху а надо льдом
весь блестящий образцовый
питимбург стоит как новый
ухмыляется мостом
осеняется крестом
дождик моросит приятный
и снежок летит опрятный
а внизу же как сычи
наблюдают москвичи
как вверху питербуряты
уплетают калачи

Антон ВАСЕЦКИЙ

СО СТОРОНЫ ОКЕАНА

* * *

Пройдут столетия,
и потомки тех, кто разрушил этот город,
мигрируют на юг,
найдут богатые месторождения,
забудут о темном прошлом.

Оставшиеся в живых
уйдут на запад
и растворятся среди местных.

На осколках былого
поселится новая этническая группа,
пришедшая с севера.

Со временем сюда начнут водить
экскурсии со всего мира,
трястись над каждым черепком.

Вот руины дома верховных правителей.
Вот контуры парка правильной овальной формы.
Вот обломки гигантского белого обелиска.

Если свернуть направо,
можно найти фрагменты
искусственного пруда.

От статуи бородача на троне
остались лишь ноги.
От храма в его честь —
пара колонн.

Вот известняк.
Вот мрамор.
Древние не скупились на стройматериалы!
Вот полустершаяся гравировка DC.

Со стороны океана
веет теплом и свежестью.

* * *

Мастера бисероплетения
не разменываются на мелочи.
Многовековая традиция
не терпит суеты.

Бусинка к бусинке.
Трубочка к трубочке.
Так рождаются великие работы,
выполненные в технике
ручного ткачества
и кирпичного стежка.

Боже тебя упаси увлечься
плоским параллельным плетением
или потакать
вкусам широкой публики.
Можешь забыть
о цеховом признании,
включении в буклеты,
ежегодной выставке в Мытищах,
престижной премии «Связующая нить».

* * *

Не угнаться за своей кровинкой,
стоит ей на улицу шмыгнуть
и помчать в игрушечных ботинках,
наугад прокладывая путь.

— Нужен листик с дуба?
— Дай мне сушку.
— Вот.
— Не надо. Где мои мелки?
— Достаю.
— Отбой. Хочу игрушку,
самокат и новые коньки.

— Хорошо, пойдем с опереженьем,
чтобы больше не было проблем.
Будешь земляничное варенье?
— Я его четвертый год не ем.

— Может, вместе выберем путевку?
— Лучше я покараулю дом.
— Хочешь, пригласи друзей с ночевкой.
— Ты смеешься? У меня диплом.

Топочи, взметая пыль ногами.
Чтобы хоть глазком издалека
разглядеть, как в предзакатной гамме
кто-то обгоняет облака.

* * *

Куда ни глянешь — Пушкин.
От самой первой книжки
со сказочной избушкой
до колик и отрыжки.

В хорошую погоду,
ненастье и пургу,
и в толщах небосвода,
и в кубиках рагу.

На шпорах и в записках,
и в поцелуях первых
под алкоголь на вписках.
И в запоздалых нервах
измученной подружки
на скомканной подушке —
в любом из испытаний
на промежутке всем
от улицы Терзаний
до станции Дурдом.

Прессуй же эту копоть,
и прочую труху
в бессмысленный свой опыт,
ненужный наверху.
Быть может, поумнеешь,
и справишься со всем,
когда бочком подъедешь
к цифири 37.

Пускай шалит сердечко,
и стынет рядом речка,
шагай себе степенно
на вытоптанный круг.
Как говорили в школе,
а я что, Пушкин что ли?
О да, мой драгоценный.
Ты тоже, милый друг.

Андрей ИВОНИН

ВЗДРОГНУЛА, ТРОНУЛАСЬ, СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА ЗИМА

* * *

Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима.
Площади, улицы, скверы, бульвары, дома —
всё покачнулось, очнулось, в глазах поплыло,
хрустнуло хрупко, как под ногами стекло.

Глаз до утра не сомкнёшь, и всю ночь напролёт
слышишь, как пенится воздух и крошится лёд.
Это весна, говоря с небесами на ты,
навстречу идёт, не стесняясь своей наготы.

Ветками верб чуть касаясь высоких небес,
тянется к солнцу привставший на цыпочки лес,
душу синичьими трелями разбередив:
Всё впереди — говорит тебе — всё впереди.

Всё впереди, всё исполнится точно и в срок.
Дай только время, немного терпенья, дружок,
и неудачи твои за сугробами канут во тьму.
Ты только верь. — И так хочется верить ему.

* * *

Воздух вдыхаешь жадно, не надеясь на зрение.
Ветер трогает лоб, но не приводит в чувство.
Полдень рябит в глазах, свет чередуя с тенью.
Сердце наполовину полно, наполовину пусто.

Солнцем спрессованный снег,
пока что имеет место.
Лежит, как старое платье, вышедшее из моды,
в глухих подворотнях. Машины,
тормозящие резко,
обдают маслянистой жижей
зазевавшихся пешеходов.

Чёрно-белая графика ранней весны. И влажен
асфальт. На окраине города
как на краю мироздания.
Так и идёшь, как будто пункт назначения
уже вовсе не важен.
Так и живёшь на свете, не приходя в сознание.

* * *

Стучится, колотится сердце.
Колеблется свет на весу.
Синицы пиликают скерцо
на маленьких скрипках в лесу.

А в городе — в скверах и в парках,
весенний танцуя фокстрот,
им вторят вороны, и галки,
и прочий пернатый народ.

Всклокоченный город грохочет.
Лепечет капель невпопад.
И сумерки стали короче,
чем были неделю назад.

И в куртках распахнутых люди
шагают, светлы и легки.
И кажется — всё ещё будет.
Всё будет всему вопреки.

* * *

Пчелиный гуд, вибрации осы,
соцветья чабреца и зверобоя —
равнины среднерусской полосы
исполнены блаженного покоя,
чьи дали не тревожит гоминид,
особенно в жару, где лишь полёвка
снуёт в траве, и божия коровка
на небо, как положено, летит.

* * *

Маме

Небольшая горстка сухой земли.
Над тобою бабочки и шмели,
одуванчик, лютики, медуница.
Целый день кузнечики, знай, куют,
и в лоскутном небе найдя приют,
мотыльки снуют и гуляют птицы.
И на всю округу стоит июль,
как когда-то в сказочном том краю,
где тебе и солнце, и небо рады.

Пахнет мёдом жимолость и такой
по холмам и балкам разлит покой,
что уже ни смыслов, ни слов не надо.

* * *

Тусклое солнце — предвестник зимы,
как элемент городского пейзажа
в небе горит вполнакала, а мы
тянем-потянем земную поклажу.

И не сказать, что мы время не ценим.
Осень сквозь зубы прохладную цедим
молча, глоток за глотком.
Дни, как киношные кадры мелькают,
словно настойчивый кто-то снимает
всем надоевший ситком.

Кафель облупленный, фотообои.
Сбился сюжет, постарели герои.
Стелется кадмий и медь
прелой листвы под ногой и, похоже,
нужно прощаться, но хочется всё же
фильм до конца досмотреть.

Дмитрий ГАСИН

ТАМ МЕЛКИМ ШРИФТОМ ОТ МЕНЯ ПРИВЕТ

* * *

Как хороши стихи, где знаки препинанья
И направляют мысль, и сдерживают строй.
Как хороши они, а не воспоминанье
О них, — в стихах иных, где синтаксис с дырой!

Но хороши стихи без запятых и точек
Морзянки школьной без условностей пустых
Где только чистый звук безрытвин иликочек
Текучий зыбкий смысл укачивает стих

как хороши стихи без буков и без ведов
и аз не встретишь в них как ананас в борще
в них нету аффторья, преведов и медведов
поскольку нету слов и звуков вообще

...Как хороши стихи без запаха и цвета —
Из зимней пустоты, из летней густоты!
Как хороши стихи, в которых нет ответа,
В которых нет меня, лишь ничего — и ты!

МАМЕ

1

На небе есть больница, где лечат от здоровья,
И млеко крокодилиц дают, а не коровье,
Бульон дают змеиный, а вовсе не куриный,
У доктора Антонио простой рецепт старинный.

О, ангелы счастливые, подвижники святые!
У вас носы сопливые, животики больные.
Чтоб не забыли души, о чем их просят снизу,
В небесной канцелярии дают в палату визу.

Невзрачную косынку на светлое чело
Прозрачную бахилу на каждое крыло,
Простынку, чашку, ложку — Такая вот экскурсия,
Да скуки ради — книжку. Надолго ли —
не в курсе я,
А если нету этого, и выдуман рассказ,

И всем довольны где-то вы, так далеко от нас,
Тогда понятно, отчего и в будущем году
Не вылечите маму вы, а я ведь очень жду!
Ведь мамы не должны болеть, особенно моя!

Не будете ее жалеть — и вас не буду я.
Неправильно-неправильно-неправильно-обидно!
А вам за это, ангелы, должно быть очень стыдно!

2

Город холодом одет.
Сотня праздников и бед
Желтыми горят огнями,
Ток по проводам бежит,
На столе рецепт лежит,
Снег скрипает под санями.

В городе холодных крыш
Ангелу сказали «кыш!»
Для оленей нету знаков.
Тихо-тихо, словно мышь,
В темноте лежит малыш.
Мыши не умеют плакать.

Вот и ты давай, не плач,
Завтра купят новый мяч…
Вышел в море на ловитву
Замечательный рыбак:

Может выудит — пустяк,
Мелочь, детскую молитву.

* * *

Я хотел эту жизнь, словно губку, выжать,
Чтобы выдавить все, что подобно гною:
Деньги, зависть, сплетни, рутину, жижу,
Грязь, которая притворилась мною.

И все планы свои разложить по весу,
Чтобы — чистый лист, лишь каркас да ветер:
Съездить в Прагу, дослушать Большую мессу…
Не дочитаны: Бунин, Монтень и Вертер.

Съездить в N-ск, где леса обернулись пнями,
Разыскать. Посмотреть. Попросить прощенья…
Вот и этим, в которых — кидал камнями,
Покрошить… Что едят они там? Печенье?..

Все смешалось… Засасывает трясина.
За стеной коммунальные звуки ада.
Не кричи! — я кричу, — не кричи на сына!
Ведь ему— четыре! Какого ляда!

Он ведь все понимает уже и помнит…
Но не слышит сосед, и не пьяный даже…
Я беззвучно раскачиваюсь в одной из комнат
Одного из домов в типовом пейзаже.

* * *

Когда я подращу свою малышку
И подыщу ей принца на коне —
Я подберу себе на полке книжку,
Шагну на фóрзац и останусь в ней.
Там ждут меня мои Медведь и Ёжик,
Там шелестит страницами мой лес,
Я помню цвет и запах их обложек:
Том Сойер, Рóни, Герда и Кеéс.
Я стану молодой, беспечный, вечный,
После урока вышедший гулять…
В кармашке формуляр библиотечный
Я буду своей книге поправлять.
Я обживу излюбленные главы,
Мне будет гамаком служить ляссé,
Ни почестей, ни суеты, ни славы, —
Но гляньте, на последней полосе,
Где номер, типография, издатель, —
Там мелким шрифтом от меня привет:
«Мой самый-самый преданный читатель»
Инициалы. Дата. Вышел в свет.

Светлана ВАСИЛЕНКО

АВТОПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ

* * *

А. Р.

Степь,
пахнущая чистой
хлопчатобумажной футболкой
на теле любимого мужчины,
который был до тебя
жизнь назад.
Змеянадороге,
Полная яда,
С глазами рассерженной прачки, —
Или где я могла видеть женщину,
С таким же злым и бессильным взглядом?
Может быть, она была подавальщицей
Или посудомойкой в заводской столовой?
Не помню.
Кузнечик,
С внимательным взглядом зеленых глаз
Инопланетянина,
Играющего со мной в салки.
Река,
Названная по имени
Монгольской девочки,
Тысячу лет назад влюбившейся в русского князя

И здесь утонувшей, —
Ахтубой.
Журавль,
Отставший от стаи,
Жалкий, словно после похмелья,
На другом берегу,
А на этом —
Ворона,
Терзающая брошенный кем-то пакет
С надписью “Мальборо”,

И я
На остывшем песке,
Любящая тебя.

КИТАЙСКАЯ ВИШНЯ

Белобрысые сверстники
Называли ее нерусской.
Обзывали — «китайкой».
Убегала на реку.
Плакала под плакучей ивой
Над Ахтубой.

Приезжала родня,
Обсуждала: «Не наша», —
На монголку похожа,
В кого, мол?
Убегала в полынную степь,
Горько жаловалась горькой
Полыни.
Зимою с соседским мальчиком
Каталась с горы на санках.
Полез целоваться, она оттолкнула.
Сказал, отряхиваясь: «Дикарка. Чукча!»

Улетела на санках за речку Подстёпку.
Лежала в снегу. Глотая слёзы,
Глядела на звёзды.

На 8 Марта
Шли с матерью
За пьяным отцом,
Умоляя вернуться, —
За его серебристой в шинели
Спиной.
Оглянулся, сказал:
«Скажи,
От какого татарина ты её нагуляла?».
Заплакала вместе с мамой,
Обняв серебристый тополь.

Хотелось быть такой, как все, —
Не получалось.

Весной шла по дорожкам сада
К уборной.
Сад еще был гол. Вдруг —
Цветущий шар на её пути,
Как облако.
Побежала к матери: что это?
— Китайская вишня!
Вернулась. Встала —
С китайскою вишней вровень.
Обняла. Целовала каждый цветочек.
Засмеялась: наконец-то
Нашла родню —
Родную сестрицу.

* * *

На еврейском кладбище
У могилы мужа
Стою одна.
Все знают, кроме меня,
Дуры,
Что сегодня живому сюда нельзя:
Суббота.

Сиротская могила.
На памятник нет денег.
Денег нет ни на что:
Ни на жизнь,
Ни на смерть.
На сапоги тоже нет.
Ты же знаешь, Марк, нашу с тобой жизнь:
Еле дотягивали до получки.

Разговариваю с тобой.
Ворох новостей.
Жалуюсь на сына.
Он все со своей Машей.
Марк, я опять влюбилась
На старости лет

Тут в одного.
Ты привык.

Ты рассеянно слушаешь меня,
Лежа,
словно на диване,
незряче глядя
на свой небесный футбол.
Невпопад переспрашивая:
Как его зовут? Саша?

Горячась:
За это надо давать красную карточку
Или назначать пенальти!

И я вдруг ясно понимаю, что
Ты такой же,
Ничуть не изменился.
И нам хорошо,
Как раньше,
Просто молчать
Друг с другом
Здесь, на еврейском кладбище,
Когда живым сюда нельзя.
Суббота.

ЯМАЛ

Собаки
с волчьими лицами.

Олени,
застенчивые, как ненцы.

Ненцы
по имени Прокопий и Петр.

Снег, похожий
на глазурь, которой
покрывают кулич
на Пасху.

Строганина в чуме.

Девочка Фая
из народности ханты,
закрывшая лицо руками:
то ли плачет,
то ли смеется.
Как птица

над Ямалом.
Ямалом.
Ямалом.

* * *

Бомж по имени Ёж —
Моя блажь,
Мой Вергилий веселый,

Пропахший помойкой,
Отведи меня в ад,
Словно в сад
На прогулку.

Улыбаясь беззубым младенцем,
Ведет,
Ухвативши
Обмороженной
Этой зимою
Клешней,
Где нет линий судьбы
На ладони, —
Тащит в ад,
Словно в сад,
На прогулку.

Мы летим в электричке пустой
В никуда,
И бегут перед нами в испуге леса,
Расступаясь от страха.
Все отчаянней крик электрички
Безумной
В ночи
И с горы
С змеем огненным
Падаем
В тартарары.
Мы в желудке
У этого змея
Мы бредем по охваченной
Жаром земле,
По обугленным душам,
Как картошка печеная.
Души везде
Плачут, стонут
И молятся Богу.
Мы встречаем знакомых
И просто людей,
Что хорошими вроде бы были,
Но так сильно любили,
Так сильно горели,
Что попали сюда
Догорать
Угольками.
Уголками
Губ улыбаясь,
Я с ними
Здороваюсь.
Здрасьте! Я ваша тетя.
Я приехала
Ненадолго,
Но может быть скоро
Буду здесь у вас жить…

Бомж по имени Ёж —
Моя блажь —
Раздувает огонь у костра,
Чтобы души уселись в кружок
И, из кружки
Глотая чафирь,
Говорили за жизнь
Про любовь.
Голова закружилась:
Я увидела, милый, тебя,
Ты без пары сидел
И устало смотрел
На меня,
Не узнав.

Как упал,
Как сломал,
Расскажи,
Свои белые крылья?

Он любил! Он пропал!
Закричали горящие души.
Ты смотрел и молчал.
И ушел вдруг в шалаш,
Одинокий,
Пропащий.

Бомж по имени Ёж —
Моя блажь,
Мой Вергилий веселый —
С милым рай в шалаше —
Отведи меня в сад,
Отведи меня в ад,
На прогулку…

Виктор КУЛЛЭ

А УХОДИТЬ ПРИДЁТСЯ НАЛЕГКЕ

ВОСПОМИНАНИЕ О НЕСЕБРЕ

Это было на Чёрном,
над слепящим заливом
в прошлом моём никчёмном
(как оказалось — счастливом).

В воздухе — запах йода.
Свежая рыба с рынка.
Линия горизонта.
Парусник — словно соринка.

Чайки визгливой сворой
реют над кабаками —
отблеск мечты, которой
не осязать руками:

стать беззаботным греком,
не выходить из загула,
чтобы солёным веком
море меня сморгнуло.

30 АПРЕЛЯ

…и к большинству
необходимо присоединиться
Иван Елагин

Заболеваю случайным мотивом.
Так западает игла
будничной трезвости — став негативом
страсти, что всё же лгала.

Логика явствует: а на хрена мне
здраво дозировать злость,
ежели отягощённый анамнез
прошлого — внятен насквозь?

Дело не в сроках, не в правилах гонки,
не в пересчёте обид —
странствует по закоулкам подкорки,
вязко в заглазьи свербит

пошлый мотивчик: не будет возврата,
и воздаянья труду.
Происходящее — только расплата
за каждодневную дурь.

Смуты сердечной, терзаний «доколе»
тоже не будет — взамен,
как пребывание в длительной коме, —
цепь хладнокровных измен

и оправданий. Набегов пиратских,
дабы познать ремесло.
Всё — ради слов в наилучшем порядке.
Мёртвой гармонии слов.

Это весьма старомодное дело
вряд ли согреет кого
в будущем. Господи, как надоело
пр***о***клятое мастерство.

Вот и свершилась мечта идиота:
прибыл на землю отцов —
в город, возросший на мёртвых болотах
и на костях мертвецов.

Сам понимаешь, что это — с досады.
Нытикам вход воспрещён.
Мучайся, празднуй остатний десяток —
сколько осталось ещё?

Время — на ощупь — становится мягче.
Я всё ещё в меньшинстве.
Мечется, мечется солнечный мячик
в бедной моей голове.

* * *

…а уходить придётся налегке,
не понимая смысла.
Что ни пиши на грифельной доске —
всё грязной тряпкой будет смыто.
Жизнь под рукой крошится, как мелок.
Подсказок нету, а учитель — зорок.
Мой маленький размеренный мирок
давным-давно напоминает морок.

Всё так. Но неужели этот мел —
похоже, безразличный адресату —
дарован, чтобы, начертав пробел,
проставить дату?

A TE CONVIEN TENERE ALTRO VIAGGIO

когда на полпути
подкараулят Трое
не морщась заплати
звериному отродью

ужо небесный суд
тебе не выйдет боком
не в сумрачном лесу
на пепелище бойком

пора торить резьбу
в усердии оплошном
о будущем забудь
и в безвоздушном прошлом

ослушник что рискнёт
пройти спираль по полной
узрит себя же в лёд
вмурованным по пояс
и вылущить решит
наперекор природе
как мумию души
из саркофага плоти

спускаясь вниз ты знал
что лифт назад заказан
и в этом новизна
законов зазеркалья

зато теперь близки
все грани тьмы треклятой
от грифельной доски
до чёрного квадрата

проклёвываются
и алчут воплощенья
ты не пошёл в Отца
и нет тебе прощенья

Лера МАНОВИЧ

НО АВГУСТ ПРИЗЫВАЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ

* * *

Остатки разговоров на тарелке:
объедки ожиданий и тоски.
Я в лес пошла, обнять хотела белку,
но руки оказались велики.

Березы оглушительно белы
и раны на коре не лечат мазью,
любовь, ослепнув, бьётся о стволы,
чужих не различая в оверсайзе.

Слепая смерть тянула нас в отель,
лед на реке был призрачен и тонок,
и я как дура шла в твою постель
и сладостей просила как ребенок.

* * *

Из контурной карты изъята
мелеет река.
Теперь межоконная вата
несет рыбака.
Земли материнской отрада,
ограды столбы.
И серое небо над садом
валит из трубы.
Не нужен нам греческий ладан
и берег другой.
Могилою пахнет рассада,
гараж голубой.

* * *

Прятались камни в стене,
прятались в погребе люди.
Вспомнил солдатик во сне
мамкины тёплые груди.

Вспомнил в степи паровоз
дыма веселые кольца,
день запускал под откос
красную голову солнца.

Травы устали расти,
верфи устали и дамбы,
спи, мой мальчишка, усни.
Я — твоя черная мамба.

ВОЖАК

Далекий вагонный скрежет,
А снег все лежит, не тает,
Сугробы красиво режет
Вожак кобелиной стаи
Индеец драное ухо,
Для пули мишень, оторва,
Но каждая блудная сука
Отдаться ему готова
Когда он трусит по аллее,
Воинственный и патлатый
Едва ли его жалеют
Владельцы жирных кастратов.
Едва ли осилит стая
Такую долгую зиму,
И сам он, когда — не знаю
Получит лопатой в спину.
Но что-то манит и брезжит,
Зовет из далекой дали,
Красиво сугробы режет
Вожак кобелиной стаи.

130-ЛЕТИЕ МАЯКОВСКОГО В ДЕРЕВНЕ

То жарят пеклом небеса,
то ветер стонет
В варенье падает оса
и век, как тонет.

Ты не ори в тугую высь —
молчит всевышний
Ты сам, дружок, определись:
крыжовник, вишня.

Вот сено жгут, и всё в дыму.
Вот в небе туча.
И никогда я не пойму —
за что так скучно.

ВК читаешь. Жрешь зефир
И пишут: вроде
пришел когда-то в этот мир
Поэт Володя.

Жил. Застрелился как дурак
И жизнь прохлопал.
Он был мужик. А также рак
по гороскопу.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОВЛАТОВА

Поехать маму, что ли, навестить
и заодно покрасить крышу на фазенде.
Но август призывает вечно жить,
а если умирать, то только в тренде.

Харизмой я любого зашибу,
дам мастер-класс любовных суррогатов.
Но грустно дуть в подзорную трубу,
как замечал еще Сергей Довлатов.

* * *

Чужбина врет, но неизменно манит:
все тот же кофе, пиво из горла.
Гарун опять бежал быстрее лани,
чем заяц от двуглавого орла

Предателю сдаётся дом без ванны,
аренда — восемь месяцев вперед,
гарун бежит в Стамбул из Еревана,
другой гарун бежит наоборот

Что ты сказал вот этим странным бегом,
на что сменил отчизны благодать.
Темнеет. Дворник борется со снегом.
Ему бы все до вечера убрать.

Василий НАЦЕНТОВ

СЕВЕРНЫЕ СТИХИ

* * *

в заполярье
к середине июля расцветает сирень
жалко ветки сломать чтоб поставить на кухне
чтобы ночь просидеть
чтобы белую ночь продержаться
снег в верховьях долин
и тяжел и нелеп
это взмах умирающей птицы
удержаться бы мне
не свалиться и не застрелиться
между солнцем и мною
в горах
обезумевший ветер
на любовь и на нежность
мне никто не ответит
собирайтесь друзья говорите о бабах и выпивке
я в зеленой тоске хорошею я пушкинской выправки
и дыханье мое экивок дальнозоркое эхо
ничего не имею взамен вот такая эпоха
проживу без тебя
всё — южнее полярного круга — чужое
здесь короткое белое лето
здесь лето такое
прикурить не успеешь померкнет серебряный свет
и вернуться захочешь —
ни тени, ни имени нет

СЕВЕРНЫЕ СТИХИ

1

Лучше выдумать мне,
как наступит холодная осень,
как деревья тяжёлыми станут
и рухнут и море качнут,
как сдержать за мгновение до,
напрягая глаза,
воду, ветер и слезы.
Вернуться. Сказать.
То, что спряталось в шкаф,
то, что в перечисленье предметов
протиснулось и притаилось, —
никогда не умрёт,
никогда не умрёт.
Притаюсь и скажу:
абажур, потерявшийся бант,
трёхколёсный велосипед
(я его на помойке нашёл)…
Что ещё?
Чтобы в раннюю грязь —
из последних —
добраться до дома,
руку мне протяни —
лужу ложкой фамильною вычерпать.

2

Что осталось?
Вина.
И тупой продолжительный обморок!
Я очнусь.
Полежу в невесомой небесной горсти…

Вот осеннее длинное облако —
в золотую косичку его, голубое, вплести.
Вот летит первый снег
на сирень, отцвести не успевшую,
на забор, на теплицу,
на окно, на герань.
Вот идёт человек —
утопиться.
И за мысом гудят сейнера.

3

Ни саамских крестов деревянных, стоящих у самой волны,
ни пустого тебе обещанья вернуться —
(как мужества мало!) —
ничего, что меня б приближало к тебе,
ничего, что меня бы с тобой разделяло.
Здесь смертельно сложны лабиринты камней.
На другой стороне — всё бывает впервые.
И венозные чайки, как варвары, рвутся ко мне,
и ослабшие руки превращаются в крылья.
Я умру на коне —
не сгожусь для предметов и прочего —
чтобы спрятаться, чтобы спастись —
не хватило мне места
и время, как водка, закончилось.
На простор! на постой!
на великое торжище духа! —
выезжаю
и слепну от снега
и глохну от тишины.
Я сошедший с ума возле Белого моря южанин.
Мне бы спелого сада, и солнца, и верной жены.
Мне бы всё рассказать,
мне бы веткой калёною выгнуться
и рассыпать по долгой дороге слова.

4

Это ты не права.
Где-то белый налив созревает,
разбивается оземь
и мякотью пачкает ствол.
Это тленье и тайна.
Слетаются мухи, стрекозы
и куры приходят клевать.
Вот пунктир умиранья.
Моя путеводная, слушай,
хорошо мне и страшно
на всё это дело смотреть.
Хорошо мне страшно
всё бросить,
но будет ли лучше —
каждый раз наступает действительный верный конец.
Посидеть бы с тобой.
Эту смерть в старине и перине
переждать и забыть.
Далёк и неведом наш дом.
Там чужие противные люди,
как цыгане, проходят у окон весёлым гуртом.
Что нам делать теперь?
Всё сильнее тревога
и глуше
суржик первой травы.
Как устала земля!
О моя дорогая, моя путеводная, слушай…
Быть не может, чтоб всё это выдумал я.

* * *

Проститься можно утром,
чтобы дня хватило
в порядок привести дела
и дневники из тайника достать.
Пока ты дочку мне не родила,
мы можем быть беспечными и грустными
и ссориться два раза до обеда,
а к вечеру мириться только раз.
Потом, лишившись выбора, мы будем
мы будем счастливы.
Я говорю тебе.

Юлия МЕДВЕДЕВА

ОНА СТАРЕТЬ НЕ ХОТЕЛА...

* * *

Она стареть не хотела, да и не старела,
так и померла молодой,
ее восьмидесятилетнее тело просилось
на подиум, а не на упокой.
Подружки ее старушки в сердцах
поджимали губы,
замечали, что платья ее требовали утюжки,
пироги подгорали, в сорняках погрязали клумбы,
огурцы не солились — кисли;
далеко, в общем, до идеала.
Она виновато, казалось,
разговорам этим внимала...
Но не исправилась: гроб заколачивали
с таким звуком,
будто она спешила на свидание
с очередным другом,
цокая по мостовой подкованными каблуками
(а ведь для нее уже обтесали
могильный камень),
напевая «чем выше любовь, тем ниже поцелуи»,
вклиниваясь бестактно в «Господи помилуй»
и «аллилуи».

* * *

деду Владимира Бауэра посвящается

Там, где расплескала изумрудный цвет Алазанская долина,
жил-был мой дед, Ерёменко Данила.
Как он добрел до этой долины,
понять невозможно —
ведь родом он был с Украины, село Переможня.
Наверно, его заманил сюда дух саперави;
дед вообще любил алкоголь разных видов —
им он залечивал раны,
полученные от «мессершмидтов».
Дед был пулеметчиком, сидел за летчиком,
и стрелял, словно черт.
Хорошо видел вдаль. Заработал медаль и почет.
О войне говорить не любил. Пил.
Однако пьянчужкой его называли напрасно.
Не расставался с кружкой,
но был умелым, рукастым.
Представьте себе, Алазанская долина —
ни камней, ни деревьев, одна лоза кругом,
но дед обмазывал пустые бутылки глиной
и построил себе отличный дом.
В том, что он пил, не было никакого ужаса.
У него было счастливое супружество,
потом еще одно. Куча детишек, чаны с чачей,
в бочках вино.
Помню, выпивал он настойку —
бутылку, а то и две,
а потом вставал в стойку на голове.
Так стоял и тихонько чему-то смеялся.
В восемьдесят лет перестал.
На вопрос, почему, отвечал: «Настоялся».
Потом рухнул Советский Союз, начались нищета,
безработица, национализм.

Потомки деда, вспомнив, что они а ля рус,
вокруг него собрались:
«Поедем в Россию, там дают квартиры
ветеранам войны,
посмотри, мы голы и сиры,
давно никому не нужны…»
Дед отказывался, верещал, словно зуммер,
но ему говорили «надо» —
тогда он взял да умер, сжимая кисть винограда.
Его пепел развеяли над Алазанской долиной,
не проронив и слезы,
и долго еще бабка варганила вина
из удобренной дедом лозы;
результат от них был специфичный —
после рюмки каждый плясал гопака,
или спивал Місячну нічку,
даже не зная украинского языка.
А если от потрясения кто-то вдруг
выпивал рюмки две,
то единственным было спасение —
постоять хоть немного на голове.

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Все любовались на дождь, ну а ты на чай,
на хачапури, мегрельский, политый сыром,
И привыкала смотреть не из-за плеча
свергнутого, остывающего кумира.

Что отражалось в чашке — не различить,
горсточка тонких черт, расплескай их в блюдце,
жгут за соседним столиком трепачи,
и в одиночестве боязно захлебнуться
и позабыть про дыханье, про курс, про пульс…

Пусть темнота и весна не красна, но все же
минус под вечер перечеркнулся в плюс,
остров казался материка надежней.

* * *

Обои в цветочек и нервный сон,
(подумашь — нервный сон),
хочу я вернуться на тот балкон,
где каждый был невесом,
и в зелень с четвертого этажа
семечки обронить.
Мы ели арбузы — живые, с ножа,
дрожали пружинки ресниц.
Плевались, смеялись и что-то еще,
подробности не при чем
Впивалось время в меня клещом,
ты вытащил — был врачом.
Обои в цветочек и нервный срыв —
(подумаешь, нервный срыв),
и длятся, и длятся арбузов костры,
сквозь годы так и не остыв.

* * *

чугунная утятница — точь-в-точь утюг
куда эпоха катится тюх-тюх, тюх-тюх
еще недавно в яблоках, в жиру, в желе
еще недавно было так, теперь — жалей
приправы или снадобья — сиди, тасуй
в микроволновку складывай свою тоску

* * *

Кот прибегает ночью, кричит: «Вставай!
А если не хочешь, то мы сейчас упростим:
будет тебе второй потерянный рай,
как его… мене, текел и упарсин.
Страшной свинье на полке придет конец.
грохоту сколько — монетки летят вразнос!
Тут на сосиски хватит, на холодец,
на китекет — ну вообще не вопрос.
Рухнуло царство снов, побеждает кот!
Чую, что были персы в моем роду!
…
Как же я раньше под ванну влезал легко?
Ну ничего. Аз есмь. Аз еще гряду».

* * *

«Купите мыло, дорогой,
«Жасминовый каприз»,
и будет вам головомой
до положенья риз!

Возьмите мыло, добрый друг,
«дикорастущий хвощ»,
оно сотрет любой недуг,
Убьет и прыщ, и вошь!

Берите мыло, господин,
«Сиреневый туман»,
устройте, если вы один,
с ним в ванной — океан.

Купите мыло, милый друг!
Отдам за полцены!»
Но ускользнет оно из рук,
как ветреные сны.

У мыла розовая стать,
прыть зайца иль коня.
Его уж больше не достать
до завтрашнего дня.

И ты от Мойки до Мытищ
невымытым пойдешь,
но запах в воздухе узришь:
сирень, жасмин и хвощ…

Александра ХОЛЬНОВА

Я ДЫШУ ПОД ВОДОЙ

* * *

Дождливо утро, а листья па́хнут,
как забродивший, прогретый солнцем,
гречишный мёд.
Ты здесь останься, комар проснётся,
замолкнет резко, смотри пока что,
пока что можешь: живёт и сеет
твоею кровью комар трёхлапый
(струна на крыльях, на сладкой кро́ви),
трилистник этот, смотри, поёт.

Пока не знаю, ещё не знаю.
Я смерти тёплый оставил хлеб,
который нёс для горластых уток,
нелепых, милых, московских уток,
и вот пришел я. Но если правда
мои затеи имеют след,
то я хотел бы — имею наглость —
быть тем и этим, скорлупкой жёлтой,
и круг баюкать в речной воде.

Здесь был бессмертник, смешная клякса,
живая форма теней, воды.
Хотел бы очень, а что — не смыслит
бутон песчаный (старо как мир).
Девчонка, мальчик, а если просто
без всяких нервных, и вовсе — без,

не дом, не школа, — плавучий остров,
знакомый возглас, а может воздух,
Самсонов волос любимых мест.

* * *

Кто вернулся, кто окна без спроса открыл,
видел сон: вижу сон, чёрный дым;
ты не спал — я спала, я спала — ты смотрел,
над кольцом и округой (по кругу) летел.
Приходи, оставайся. Прогнулся карниз,
он не помнит гнезда, я не помню границ
пробежавшей над нами Балтийской воды;
белоснежная смерть, это снег, это ты?
Говоришь: вижу сон — видишь сон. Это я.
Не летел, просто шёл, просто думал и был;
нарезая круги, корки хлеба ронял,
быстро шёл, а вернее на снег выходил.

* * *

…когда ни августа, ни книги под рукой:
покой для голоса, для пятницы покой,
несущий в сердце — сердце дурака,
бредущий следом древних муравьёв.
И говором утробным: тра-та-та —

пришедшие на память облака
рассыпались на скорости стихов.

По книге и породе дурака
спокойно ты распустишь рукава
на нити для беспомощных лекал
нарядов золотых и для возврата

долгов построчных: выпиты моря,
в чью соль ты руки часто опускал,
я с пальцев собирала эту соль
и смешивала с зёрнами граната.

* * *

…на языке Святаго духа,
шершавом, кровном языке,
ведут и гладят равнодушных,
Святаго духа невозможных
коней, идущих по реке.

А я стоял и слушал: кони,
копыта по́ снегу, в снегу.
Забыл да выбросил. Напрасно
стоял и выстоял. Табун
моих неспешных, безымянных,
ослепших к озеру веду.

На зависть ходят злые кони.
Идут по сне́гу в поводу́.

* * *

В воду брошенный мяч отскочил от воды,
головой мертвеца над водою застыл.
Середина зимы, я не помню слова,
по воде не ходил, я по ней рисовал.
Нарисован пейзаж: ни меня, ни других,
слава богу, зима, слава богу, они
не приходят ко мне, говорят не со мной.
Я не помню слова — я дышу под водой.

Ганна ШЕВЧЕНКО

ГРОЗОВАЯ КАРУСЕЛЬ

* * *

Золотистый день хороший,
время — полдень без пяти,
круг, крапивою заросший,
формы правильной почти

кем-то к маю, предположим,
здесь, на месте спорыша,
водружен, чтобы прохожим
было радостно дышать;

кем-то выложенный к маю,
до потопа, в теплый день,
чтобы, ветки поднимая,
возвеличилась сирень;

или, может быть, рябина,
предположим, здесь росла,
изгибалась сердцевина
кривоватого ствола;

или ель движеньем сонным
тень бросала в форме дуг.
Все прошло. Опустошенным
оказался этот круг

кем-то выложенный к маю
раздробленным кирпичом.
Я о чем сейчас? Не знаю.
Полагаю, ни о чем.

* * *

С потолка опускается нить —
ужаснуться б и сделать уборку,
обнаглеть бы, и стих сочинить,
и в газету отправить подборку.

Умереть бы, а после уснуть
в синеве, как якутская лайка,
а потом запостить свою нудь
и сидеть в ожидании лайка.

Вместо этого куришь бамбук,
наблюдаешь, приняв свою вещность,
как по нитке сползает паук —
перебежчик из вечности в вечность.

* * *

Помнит ли кто-нибудь думы Гомера,
или тяжелые дни Гесиода,
нам предлагается счастье, как мера
религиозных удач, но сегодня

зло замышляет последнюю битву —
видела: злясь, удивляясь проценту,
у банкомата свершают молитву
две прихожанки торгового центра.

Материальных чудес не приемля,
Бог разозлится, распутает пряжу,
скрутит в клубок грубоватую Землю,
угомонится и новую свяжет.

* * *

В поддоны серых крыш
врастают небоскребы,
а он совсем малыш,
недавно из утробы;

не низок не высок,
умеренного роста —
уперся в потолок
и смотрит, как непросто

в пространстве обжитом
сквозняк колышет шторки,
и зеркало притом
качается на створке;

и вроде бы кровать,
и вроде одеяло,
но мамы не видать,
и папы не стояло,
лишь зеркало блеснет —
покажет в утешенье
миграцию пустот
из тела в отраженье,

в кривой и тесный дом,
где нужно в одиночку
в укрытии своем,
спрессованном до точки

какую-то не ту,
что здесь под потолками,
другую темноту
исследовать руками,

иначе до седин
никто ему не скажет,
зачем он здесь один
и чьим безумством нажит.

* * *

Пока за кольцом зеленеет посадка,
пока Подмосковье не тонет в осадках,
покуда синица поет на груди,
не парься, но знай, что нагрянут дожди;
как в старом, не помню каком сериале,
покатится с неба вода по спирали,
наполнит кастрюли, тазы и кувшины,
зальет магазины, дома и машины,

заборы, мосты, тротуарные плитки,
не парься, но помни — на Вайлдбериз скидки —
на Вайлдбериз скидки. Любые цвета.
Куда, человек, ты пойдешь без зонта?

* * *

У подъезда дождливо и пусто,
капли катятся по кирпичу —
вы мои оскорбляете чувства,
я хорошей погоды хочу.

Побывав в грозовой карусели,
разрыдается тополь нагой —
я устрою циклонам канселлинг,
я на тучи притопну ногой.

Но они, велики и надменны,
удалятся в языческий храм,
потому что культура отмены
не страшна ни дождям, ни ветрам.

Елена ПОГОРЕЛАЯ

ЕЩЁ ОДНИ КОРОТКИЕ ПИСЬМА

ПАМЯТИ О. Т.

1

А моя подруга стала ангелом.
Там, во мгле, слепой и бестелесной,
предстаёт она в сиянии алом —
против духов злобы поднебесной.
А моя подруга красит новые
листья в краски цвета карнавала,
и деревья шепчутся кленовые,
что она их так нарисовала.
Карандаш дрожит над старой ивою.
Начали раскрашивать — забыли.
Правда, она самая красивая.
Правда, ей не холодно в могиле.

2

Нет тебя на этом свете,
нет на этаже.
...Знаешь, Оля, наши дети
выросли уже.
Стали строже, стали в силе
не страшатся дня, —
и гулять к твоей могиле

ходят без меня.
Мы хранили их от злобы.
Да исчезнет зло.
Нарисуй им осень, чтобы
сделалось светло.
Нарисуй, как ты умела:
крест невдалеке,
желтый след цветного мела
на её щеке,
тропку, где земная плёнка
зыблется, дрожа…
Нарисуй в листве лисёнка,
а в траве — ежа.
Шелест в клёнах, ветер в ивах.
Контур и объём.
Нарисуй их нам — счастливых.
Нарисуй вдвоём.

ИЗ ЦИКЛА «ЕЩЕ ОДНИ КОРОТКИЕ ПИСЬМА»

1

…ведь, должно быть, он всё-таки ведает,
что творит,
если вдруг в одну ночь наполняет тебя изнутри,
как дыханием лёгкие,
как водой пересохший ключ,
как пустую комнату — солнцем,
пробившимся из-за туч,
как берёзовым соком ствол,
как минором глухой гобой;
вот она, говорит, любовь, вот она с тобой,

то, что было тобой вчера, — так, сосуд, кимвал,
ты ведь этого не выбирал, говорит, не звал,
только вот же она, любовь,
говорит, пусть себе внутри
милосердствует, долготерпит, не ждёт зари.

2

Нет, нельзя, конечно, и всё-таки — рассказать бы,
как с утра на реке играют стрекозьи свадьбы,
как задетый воздух пчелиным звенит крылом,
как вода к полудню пульсирует под веслом.
Нет, нельзя, конечно,
конечно, нельзя об этом —
как у нас закат совпадает с твоим рассветом,
как светлеет край подушки твоей, пока
здесь туман подлунный покачивает река.
Нет, нельзя, конечно, и ладно, и бог бы с ними,
сколько их ещё будет, и будут они какими,
эти дни, обратной бегущие чередой
под твоей далёкой-далёкой
чужой
звездой.

3

Ты, пожалуйста, только живи, да?
Живи вдали —
что на самом ли заповедном краю земли,
там, где небо и море смыкаются в окоём,
на который нам никогда не смотреть вдвоём.
Ты, пожалуйста, только живи, хорошо? Живи
хорошо — без какой-то ненужной тебе любви,
чтобы солнца блеск,
чтобы соль земли,
глубина волны,

величальная — голосами чужой страны.
Не увидеться, не проститься, и ничего.
Пусть мне слышится музыка имени твоего
от друзей — случайно, коротко, иногда:
— Вот такой-то, ты помнишь?
— Такой-то. Конечно. Да.

4

31 августа
уважаемые родители
сдайте на украшение зала
и ещё конфетти
и наборы которые дети хотели
эй подруга
по-моему ты мне о чём-то не рассказала
дорогая готовь договор
я вернусь через две недели
е<леночка> а<лексеевна>
а стоит ли прочитать
это
«лев толстой — бегство из рая»
е<леночка> а<лексеевна>
как будет русское
настоящее
давно прошедшее
а я просто думаю о тебе
и немножечко умираю
каждый день умираю
потому что люблю тебя
как сумасшедшая

POSTSCRIPTUM

…полые церкви
Лета Югай

Новое настоящее — там, за пыльной горой июля,
дымной громадой августа,
за излучиной сентября.
Солнечная горошина — позолоченная пилюля —
перекатывается по клиросам
у разрушенного алтаря.

Белый фарфор и золото с мёртвого иконостаса
стали речными лилиями, кувшинками на пруду.
Спас на воде стоит, говорят,
если в воду войдёшь до Спаса,
вниз не смотри, не вглядывайся
в дремлющую беду.

Тронуть бы тебя за руку,
быть бы с тобой до вечера —
новому настоящему, близкой зиме назло.
…Это не человеческий голос, а голос ветра.
Это в церковном куполе дерево проросло.

Лета ЮГАЙ

ВЕСЕННЯЯ ОТКРЫТКА

* * *

Весна уходит на работу —
Топить снега и двигать льды,
И сонные будить сады
Птиц торжествующим прилётом.

И каждый из рабочих дней
Ещё длинней, ещё полней
Движеньем и журчаньем света,
Разбросанного меж теней
И налетающего ветра.

А вместе с нею, обгоняя
Её живой и ясный бег,
Торопится вода лесная,
Застывший прожигая снег.

И горожанки из квартир
Выходят, щурясь, в новый мир
На предназначенную встречу,
Одеты в шёлк и кашемир.
И мир улыбками расцвечен!

* * *

Памяти А. П. Тимофеевского

Мы прилетали к нему и щебетали о ерунде,
Маленькие умные птички, родившиеся вчера.
Он был красив, как горные пики
на фоне облачных круч,
Бурлив, словно море,
Наивен, как солнечный свет.

Мы знали: за ним —
Товарищи, убитые и убитые,
Девочка, взятая с куклой из постели
и отправленная в лагеря,
Лукавые разговоры со следователем,
В спешке сжигаемые стихи.

Но говорили больше о вселенском добре,
О «ну как это так» по поводу несправедливости,
О стихах, до последнего о стихах.
Немного подыгрывая,
Как стёклышки, греющиеся на солнцепёке.

А потом ничего не стало. Ни прежнего слова,
ни прежнего мира,
Ни моря, ни гор и ни солнца.
Только страх и стыд.
Каждый день — убитые и убитые,
Забираемые в известном направлении.

Наши пёрышки облетели, крылья окаменели, голоса стали солёной водою…

Если мы это переживём,
Удастся ли нам
Сохранить свет и наивность?
Будем ли говорить о стихах,
до последнего о стихах?

КАЛИТКА

Ты ничего не знаешь об этом мире.
Ты от него защищён
Лазоревой скорлупой,
Дощатым забором,
Полноцветной сиренью,
Крапивой-шипи́цей.

Мокрый беспёрый птенец.
Слизень-близень, ушко-улитка,
Выгляни за калитку!
Белый росток,
Расколи деревянный орешек!

Время приспело,
Яблоки налились,
Путники за оградой состарились.
Мир катится в пропасть,
колёса скрежещут,
искры летят.

СНЕГОПАД

Говоришь, говоришь, а потом
Всё накрывается белым листом.
Слова перепревают, словно трава,
Слипаются и лежат пластом
В горле, и мысль замерзает, едва жива.

Когда солнце уходит к другой стороне земли,
Безразлично ему, что вы строили и о чём цвели,
Линий длинных вдали теряется синева,
И никто не слушает, как деревья под наледью полегли
И как где-то под настом лопнула тетива.

БАБА ЛЕСТИНА

Баба Лестина
(«в церковной книге записано Лепестина, но буквы потёрлись;
батюшка сказал, будут называть внуков,
пусть Лестиной не называют»)
поёт:

«Как на кладбище Митрофаньевском
отец дочку зарезал свою…»
Как запоёт, так заплачет…

«Муж-от детей не любил.
Велел дочку в лес нести».

И с царевной в лес пошла
и в такую даль свела…

«Я понесла, оставила, а та как закричит:
“Мама!” Я её на руки.

И домой, мужу: “Знаешь, что, тебя я брошу.
А детей — нет”».

А вокруг долгие сосны, кипит иван-чай,
чистый сладостный Васнецов.
Прошлое — желтоглазые волки,
в здравой памяти никто туда ни ногой.

Только девяностолетняя Лепестина вспоминает:
«А потом что надумал!
Чтоб не платить алименты,
решил отсудить детей.
“В детдом, говорю, отдавайте, только не ему!
Он ребёнка в лес велел отнести“.
Спрашивают: “Это правда?” —
“Ну дак я не мог привыкнуть”».

Лиловые лепестки, острые листья,
тычинки, белые, как ресницы.
И вода торфяная, течёт со скоростью
шесть километров в час.
А ещё поёт про «на твоей одинокой могиле».

«Подружка попросила, мол,
спой на моих похоронах.
Люди плакали. А я думала: “Одинокая.
А какая ж одинокая?
Вот тётка, вот мать, вот сестра.
У высыльных, у тех одинокая.
Бором всё заросло, и не найти. И сын-от один.
Не один, с другими детьми из больницы”».

А по берегам туман как меховая опушка.
Лес темнеет.
Прошлое обступает, как лес,
и страшно в нём оставаться.

Ничего не разглядеть,
многое уже и не вспомнить.
Буквы потёрлись.

Хрустнула ветка.
Жёлтые огоньки.
Не оставляйте меня здесь одну.

Григорий МЕДВЕДЕВ

ПОСМОТРИМ ТУДА ОТСЮДА

* * *

Помнишь, в родном городе у нас ватой
с блёстками, серебряным дождиком и т. д.
для красоты рождественской бедноватой
между стекол зазоры выстилали везде?

На Красноармейской особенно, помнишь, в этих
домиках старых, сносу наперекор,
в полуподвалах тамошних и подклетях
с окнами в землю — любили такой декор.

А что было вокруг? — А то и было,
что известно и так: в одёже с чужого плеча
долго ходила тогда (и потом подзабыла)
родина, оправдания лепеча.

Предвкушение счастья — такая осталась причуда
от тех, ватой проложенных,
предновогодних дней,
мало сбылось, что загадывал по дороге оттуда.
Но тем-то оно и желаннее, чем солоней.

* * *

Конечно, умер и за них.
Георгий Иванов

Дыша то амброй, то цукатами,
идем по набережной мы,
сопровождаемы цикадами,
как будто не было зимы.

Заполнены кафе, гостиницы.
От музыки, что не нова
и от неоновой латиницы
побаливает голова.

А по утрам вдали над кортами
взмывают легкие мячи,
и облака плывут когортами
в просторы дальние ничьи.

Цветы, похожие на кисточки,
сплелись на стенах, грунт нагрет,
где молодые теннисисточки
ведут ожесточенный сет.

Ни нашей нет, ни их виновности
в том, что проходит стороной
пока и, попадая в новости,
не называется. Двойной

отпить эспрессо из картонного
стакана по смешной цене,
чтобы избавиться от сонного
оцепенения вполне.

* * *

Первый голос твердил: ударь, ударь его, не
жалей. Второй повторял: не нужно,
оставь, не нужно…
Оба звучали секунду, оба звучали во мне,
что в пересказе теперь выглядит
малость натужно.

Посмотрим туда отсюда — из наших лет.
Сентябрь, школьный двор,
залитый ветхим светом,
мальчик, не смогший ударить в ответ,
и против него другой, заранее знавший об этом…

Закончить бы здесь. Всё, что было потом, —
лишь итог того выбора,
развёрнутый комментарий.
Но раз уж ты начал — договори виноватым ртом,
доскажи историю, гуманитарий.

Тот отучился на сварщика, до двадцати пяти
погулял, женщину взял с довеском,
своего смастерил, дом достроил почти
и остался лежать в мокром снегу донецком.

А когда о себе последнюю крайнюю весть
призрак его принёс, мы сценку сыграли по новой.
Так и стою перед ним, как тогда,
как всегда, как есть —
не ударивший и судьбу принять не готовый.

* * *

Мопса Бетти больше нет.
Было ей пятнадцать лет.
Вынесли её под утро,
тихо погасили свет.

Бог её не воскресит.
Дождь холодный моросит,
на крючке теперь ненужный
синий поводок висит.

Как была щенком взята
неуклюжа и толста,
посидим, повспоминаем
и подступит пустота.

Для чего — такой вопрос —
был улиткой скручен хвост
и бугристый лоб наморщен,
и дышал короткий нос?

Бог, поскольку он велик,
не являет нам свой лик,
но нет-нет, да и оставит
несколько примет, улик.

Например, любовь. Она
меньше ли воплощена
в маленькой душе собачьей?
Равная на всех дана.

Наступило Рождество.
Что ж, родное существо,
спи себе. Пусть шепчет море
у приюта твоего.

Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

ГОРОДУ И МИРУ

КВЕБЕК

Все-таки странно устроена жизнь человека!
Можно приехать в Квебек — и не видеть Квебека.
Так и сидеть на окраине до воскресенья,
Разве что красными кленами потчуя зренье.

Впрочем, а кто доказал, что музеи да замки
Лучше прогулки с собакой и вырытой ямки,
Беличьих пряток и медленного погруженья
Листьев сквозь воздух
в их собственное отраженье?

Лишь в понедельник,
практически перед отлетом,
Броситься в город,
чтоб все-таки выведать, что там,
Серые камни увидеть, тяжелую реку —
И улететь, навсегда удивляясь Квебеку.

РИМ

Присмотрись. Не видишь? Присмотрись!
А потом прислушайся: незримо

Воробьями полон кипарис —
Дерево таинственное Рима,
Под завязку птицами набит,
Как волшебная утроба,
Непонятно, радость или злоба,
Но внутри него — кипит!

Я прошу — а ты пообещай
Мне — на случай,
Если стану птицей — в этот рай
Попаду: трепещущий, кипучий,
Полногласный, неумолчный — Рим! —
Многокорневой, ветвистый —
Возвращусь. Еще поговорим!
Посвистим условным свистом.

СТАМБУЛ, ПАРОМ «ЗОЛОТОЙ РОГ»

Может быть, оно теперь уснуло,
И уже навек,
Розовое солнце Истанбула
На изнанке век.
Закипает море в брызгах света,
Пенится по берегам весна —
В памяти останется лишь это,
А не то, что палуба тесна.
Изнутри работает машина,
Сотрясая пароход,

Рядом пахнет чесноком мужчина,
Шумно дышит и жует.

Никакого толку злиться —
Разве что на несколько минут
К нам непроницаемые лица
Смуглые соседи обернут.
Вот бы так и прочие обиды
Все забылись до одной
И в глазах стояли только виды —
Берег в радуге летучей водяной!

ПРАГА

В неге и злате в игрушечных Карловых Варах
Осень в халате лежит на холмах и в шальварах,
Курит кальян, заедает его шоколадом,
Легкий дымок провожает мерцающим взглядом.

В Праге, как в старом шкафу,
тоже спрятана сказка.
Полночь заводит часы городские, и Кафка,
Не доверяя друзьям, ищет спички, вздыхая,
Свой поджигает роман — и горит, полыхая.

СКОРЫЙ

Мы вместе едем в скором поезде,
И повести свои для нас
Выводят снеговые волости
До слёз, насколько хватит глаз.

Мы вместе едем, в скором времени
Чтоб обменяться наконец
Судьбой, ладонями, коленями
И — рафинад на леденец.

А тот, кто после выйдет в Питере —
С оленями на сером свитере
И неподъёмным рюкзаком —
И небывалый, и обыденный,
Как будто со спины увиденный…
Да ты и не был с ним знаком!

ИЕРУСАЛИМ, СЛЕПОЙ ТУРИСТ

Горчила местная маслина.
По площадям гуляло слово.
Под стенами Ерусалима
Я видела его, слепого —

Он опирался на предплечье
Подруги с внешностью раскосой
И наслаждался птичьей речью
Окрестности многоголосой.

Что думал он, турист незрячий,
Лицо слегка приподымая
И воздух чувствуя горячий
И солнце середины мая?

Как экзотические бусы,
Он наживлял на нитку знанья
Чужие запахи и вкусы
И новый образ осязанья?

А может, девушку хотел он
Свою порадовать — и страстно
С ней вместе ощутить всем телом
Объем подвижного пространства,

В обжитом наскоро отеле
Ловить ее, раскинув руки,
Выделывая на постели
Неописуемые трюки,

Будить ее гортанный голос
И вслушиваться в быстрый шепот,
Пуская память в рост, как колос,
Удваивая каждый опыт,

И знать, сцеловывая с кожи
Пыльцу мелькнувшего пейзажа,
Что с ним она получит то же,
Что и с другим — и больше даже?

А может, все не так, иначе.
Лишь тайна бережет свободу.
Уже спешил турист незрячий
Со спутницей к экскурсоводу,

Поодаль поджидал автобус
В плавучем выхлопе бензина
И чуть покачивался глобус
Под стенами Ерусалима.

Майка ЛУНЁВСКАЯ

СНЕГ, НЕ ХОДИ ЗА МНОЙ

* * *

Потому что в земле теплей,
мы засыпали их землёй,
и ростки сохранились в ней.
Снег, не ходи за мной
в мае, когда цветы
всё-таки лучше пуль.
Мы февралём сыты,
нам бы июнь-июль.
Чем укрывать ростки —
спрятать под чернозём.
Чем укрывать от тьмы?
Господи, это мы
тянемся вверх, ползём.

* * *

Во всю длину зауженной межи,
нарушив все предчувствия и сроки,
гусиный пух белым-бело лежит
на выпуклых полях и на дороге.
«Когда мы полетим в свои края?» —
они молчат и спрашиваю я.
Лиса бежит, следа не оставляя.

Там косточка припрятана моя
до будущего сада и сухая
трава лежит, готовясь воскресать,
сама себе и мачеха, и мать.

Во всю длину зауженной межи
стоял бы свет, но день теперь короткий.
Подсолнух неба голову сложил,
и уложилось прошлое в коробки.
Но сколько ни откладывай отъезд,
я помню то, что времени в обрез,
пришла пора подсчитывать убытки,
что год прошёл с бедой наперевес,
родных берёз посадки и отсидки
кто долго наблюдал и будет впредь,
но сколько можно плакать и смотреть?

* * *

Зло сильнее, но правда не в силе.
Это в фильме сказал персонаж,
а не в фильме его бы убили.
Отче ваш, говоришь? Отче наш.

Мало крови? Действительно мало?
Хочешь больше добавить в сюжет?
Зло и раньше всегда побеждало,
и сейчас победило уже.

Нет, не так, то есть дело не в этом,
справедливость — иллюзия, но.
Как мы звёзды на небе заметим,
если в небе не будет темно?

Это пафос, но он неизбежен,
без него я сказать не смогу.
Жизнь другая, а люди всё те же,
так же смерти желают врагу.

Что же делать? Дождаться финала,
до конца этот фильм досмотреть.
Смерть и раньше всегда наступала,
чьей победой считается смерть?

* * *

Со вчерашнего дня вёдра стоят пустые,
голову мыть — нужно идти к колонке.
Грею в ведре, пока я вернусь, остынет.
Розовый таз на стуле, литровая на клеёнке
кружка стоит, линолеум ловит всплески,
в русой волне смывается быстро пена.
Кухня, окно на кухне без занавески —
видно всю частную жизнь и меня, наверно.

В той же воде ещё постирать и здесь же
вешать бельё; протянутая верёвка —
диагональ, которая держит стены.

Быт говорит: «Почувствуй себя неловко
за себя, за них, за бедность», но постепенно

привыкаешь,
сливаешься с бытом,
с пятном на тёмном,
под сковородку кладёшь газету,
принимаешь чужую правду
и называешь домом —
жизнь и такая тоже,
чего глазеть-то?

* * *

повторю уже в который:
«я» стирается в «Росси…»
а лишаешься опоры
то в себе её носи
сколько можно сколько надо
это видеть и молчать
огради меня ограда
охрани меня печать
ходят кони над рекою
ты неси меня река
ходят кони с ними трое
ждут четвёртого пока
след копытный рожь златая
и куда ни бросишь взгляд
не видать конца и края
тишина стоит такая
тишина стоит такая
молча с косами стоят

где воронка рядом с домом
где разбита колея
ну-ка дети скажем хором
ворон́ок воро́нка во́рон
это родина моя
не вини не соболезнуй
приучай себя к труду
сколько гусениц железных
соберёшь в своём саду
обескровленные осы
и бескрылые шмели
дети учимся доносы
что вы дети принесли
воробья для ямочки
овода на палочке
смерть давай в считалочки

* * *

Много яблок — выпрямиться трудно,
ветку словно тянет тетива.
Наступает войско, то есть утро,
держится без шеи голова,
то есть солнце в небе расцветает,
одинокий пламенный цветок,
и земля с похмелья выпивает
ржавый сок и смотрит на восток.
Повернись ко мне лицом угрюмым,
это старый кнут и новый гнёт.
Да, растут и кладбища, и тюрьмы,
но и сад растёт.

Любовь КОЛЕСНИК

НИ ЧЕЛОВЕКА, НИ ДОМА

* * *

Вторая жена Пушкина была калмычка.
Он читал стихи.
Она плакала с непривычки.
Говорила: «Саша, я тебя прошу, люди смотрят».
Говорила: «Саша, пойдём».
«Саша, не надо!»
«Саша, не бей!»
А он знай своё —
в покосившуюся эстраду
вцепляется, как репей.

Шли домой.
Вела под руку.
Он валился
на её крошечное плечо.
У неё была шапка, как у Барбары Брыльской —
хорошая шапка,
со школы ещё.

Он лежал больной.
Тихая, словно няня,
подносила в железной кружке отвар трав,
которым наука не знала названия.
Он написал ещё семьдесят глав.

Прожили до седин.
В магазин не ходили, а всё было:
счастье,
свобода,
мир,
равноправие,
взаимоуважение.
А потом она поняла,
что сидит в степи без движения
на золочёной луке истлевшего седла,
как давно хотела,
обернулась птицей и улетела.

* * *

Как живу? За деревней — легко, как бирюк,
утром выкрасил в желтое ставень.
Здесь на сотню гектаров болото вокруг
и суглинок смерзается в камень.

На травинке батрачит овальная тля,
ей ни сдохнуть, ни остановиться.
На коряге тетерка, и Карна, и Жля —
три осколка в коре, три сестрицы.

Угадай, где тут кто, под каким из холмов,
землянику хватаешь, дурея.
Из распластанных бревен трухлявых домов
вырастают тугие деревья.

А когда соловьиный начнется фитьфить
посреди черноземного рая,
так душа развернется, что грех не завыть:
слушай, родина, слушай, родная.

* * *

Место хорошее — речка,
поле, а дальше леса.
Здорово, крепко и вечно —
ферма, за ней силоса.

Баню срубить из осины —
чёрную: век простоит.
Птица бубнит из трясины,
бык на закрайках трубит.

Сколько прошло-то? Да мало —
глянул, моргнул, все пропало.
Разве что из-под куста
тянет и тянет мочало
птица занудная та.

Вроде бы, место знакомо —
речка, поля, благодать.
Ни человека, ни дома,
даже крестов не видать.

* * *

яблоки падают до того
как успевают созреть
человек
освобождается по УДО
чтобы уйти в смерть
я в столбик складываю слова
лошадь яблоко ест
у птицы черная голова
трава похожа на крест
в небе шевелится молоко

в речке течет квас
и видно
видно так далеко
что слезы текут из глаз

* * *

Большой кобылы белая спина,
сутулая парабола сугроба.
Весна еще почти что не видна:
летает снег, подвешенный на стропах.

Покойная чугунная земля,
и в ней вода, как замершее зелье.
Под стенами елового кремля
озимые припрятывают зелень.

Но небеса становятся синей,
надколотые стрелами сосулек.
Берется настом серый след саней,
и белый свет становится сказуем.

День короток, и снег еще не сник,
и неподвижны каменные зерна.
Синица, залетевшая в денник,
звенит весной из горлышка, из горна.

* * *

Здравствуй, мама! Как ты, мама?
Сено есть, коза жива.
Телек, первая программа,
цифровая трынтрава.

Большевик играет в ящик,
говорит и говорит.
Борщевик руками машет,
удивительный триффид.

Печка щелкает, гудит.
Мама, мама, чай налит!
Автолавка раз в два дня.
Что ты смотришь на меня?

Мама, мой проект закрыли.
Сын дурак, хюндай в кредит.
В почках камни, жопа в мыле.
Мама смотрит и молчит,

как молчит столетний ельник.
За околицей Сочельник,
снег, березы и морозы
и предчувствие угрозы.

Чу! Звенит в сосульках иней,
на дороге мерзлый йод.
Печь горит, коза жует.
Мама, страшно, помоги мне!
Баба с ведрами пустыми
зимний путь перечеркнет.

Сергей СКУРАТОВСКИЙ

НЕМАЯ ПТИЦА

* * *

Черные королевы ютятся в сгоревших домах,
Белые королевы пируют на снежных холмах,
И те и другие по весне обращаются птицами.
Их короли сеют ветер, ломают талые льды,
Смотрят на дикую воду, морщат высокие лбы,
Забыв отраженья в реке, уходят, безлицые.

Долго идут на запад, долго идут на восток.
Тяжелый кровавый запах тянется между строк.
Были следы человечьи, станут звериными.
Вроде бы все нормально, все идет своим чередом,
Но по дороге к храму, оглядываясь на свой дом,
Я знаю, я что-то забыл, но не помню, что именно.

Слева высокая церковь,
справа консервный завод.
Вроде пасхальное шествие, но никто не поет.
Я думаю так, иду вдоль деревьев,
в глаз попадает ветка.
Слева шагает некто с лампадой или свечой,
При команде «равняйсь»,
смотря сквозь мое плечо,
Он будет искать отчаянно
Грудь четвёртого человека.

Воздух гребя когтями, от боли совсем одурев,
Короли, вернувшись, наощупь
ищут своих королев.
Ради какой любви играть
в эти страшные прятки?
В никакой стране, во времени никаком,
Погрузневшие миллениалы
разговляются шашлыком,
И херачит седой рокенрол из помятой девятки.

* * *

Старый учитель русского языка
Сентябрьским утром превращается в чайку.
Окно открывается, и по стеклу рука
Соскальзывает, ни единого отпечатка
Не оставляя. Это уже крыло.
Учитель взлетает выше. Огненные колесницы
Его обгоняют. Небо белым-бело,
Чем-то напоминает ненаписанные страницы
Голубиной и чаячьей книги…
Он всегда сторонился религий,
А тут прилетает к Богу,
Садится Ему на плечо.
Говорит, говорит так много,
Что кажется — ни о чём.
Бог кивает. Прищуривает глаз.
Он всё понял, хотя — поди нас, пойми.
За пятым небом защёлкали стёртые шестерни.
Учитель видит окно в облаках,
летит и попадает в класс.
Всё замирает. Как же красивы их лица…
Преодолев тишину, разлитую в солнечном свете,
Класс встаёт. Учитель садится,
Берёт в руки журнал:
— Здравствуйте, дети!

* * *

Я идиот, мне 30 лет,
У меня в шкафу не один скелет,
У меня есть вопрос на любой ответ,
И это мучительно страшно.

Мои 30 лет уходят в песок,
Я не могу найти свой носок,
У меня начинает болеть висок,
Я молча ем свое брашно.

Вокруг — королевство закрытых зеркал.
От них я устал, и еще раз устал.
И придумал тень черноморских скал,
Шлем витязя на песке.

Этот витязь из всей своей роты остался один,
Бродит по берегу, неприкаян и нелюдим,
Не открывая ни перед кем своего лица.
Три раза бросался на острие меча-кладенца.
Да только все мимо.

Гора становится небом, небо — тяжелой горой.
Там, наверху, прекрасно, но жрать охота порой.
В кого бы ни превращался
мой лирический негерой,
Сказка неотворима.

Мне 30 лет и я идиот.
У меня в голове жар-птица поет,
Крыльями бьет и в висок клюет,
И колотится изнутри.

Но я идиот и доволен вполне.
На кухню пойду и пожру при луне,
А ты, читатель, не плачь обо мне
И слезы свои утри.

«КОРОЛЬ-МОЖЖЕВЕЛЬНИК»

Алюминиевым утром, бронзовым днем
и чугунной ночью
Король-можжевельник тонкими пальцами
Подбирает с земли тишину.
Сдувает с нее паутину, хвоинки,
стрекотню сорочью…
Глупые феи нескромными танцами
Иногда мешают ему.

Где-то в замызганной двушке нервно
моргает лампа,
В холодильнике дремлет студень,
В прихожей царит бардак.
Человек на балконе курит
и смотрит в небо глазами карпа.
Скрипят, рассыхаясь, советские стулья,
Но как-то не так.

Оденется в белое, чистое.
Отправится на норд-вест,
Не взяв ни обратный билет, ни спички,
лишь хлеба самую малость.
И придет на поклон к королю
в этот странный сумрачный лес,
Принеся на ладони свою одинокую старость.

Эта беседа, наверное, будет длиться века.
Король-можжевельник и путник
будут легки и прекрасны.
И будет вокруг летать некто в облике мотылька.
И будет тепло и ясно.

* * *

Я лепил немую птицу
Из соленого из теста.
Я не знал, что это птица,
Просто было интересно.
Каменный мешок, обои —
Нарисованное лето,
Мамы-рамы окна моют,
Я гляжу на все на это.
Птица клеится к ладони,
А представь, что улетела? —
Как же гулко станет в доме
Моего большого тела…
Как же это сложно, Боже!
Повернулся ключ в замке.
Кто-то шаркает в прихожей,
Птица вздрогнула в руке.

* * *

Большая дорога — папкин широкий ремень
Пахнет потом, песком и дедовской портупеей.
В этом смысл родства — похоже пахнуть.
Детская лень
Падает каплей на клетчатый лист. Корпея
Над матикой, познаешь бесконечность кольца,
Бесконечность маминых слез, злых ее рук,
страх ее любящих глаз,
Бессмысленность быта, окольцевавшего нас,
Бесконечность неслучившегося отца.

Восьмерка не сможет встать, упавши на бок.
Я иду по дороге. Ее запах и горек и сладок.

Влад ЮЖАКОВ

ИСКУССТВО КРАСИВО ТОНУТЬ

* * *

«Если однажды поймёшь, что попал в трясину,
не паникуй и не бейся как хищник в клетке.
Впрочем, как знаешь. Искусством тонуть красиво
неврастеничные типы владеют редко.

В зыбком, изменчивом мире, где нет опоры,
тот, кто усердно старается лезть из кожи,
гибнет, как правило, первым. А тот, который
не привлекает внимания, гибнет тоже,

только не сразу. Сумеешь принять болото,
став, как другие, покорным, немым и слабым?
Значит, успеешь увидеть, как тонет кто-то
раньше тебя». И ещё рассказала жаба,

что ничего интересного нет на суше,
и оказаться в трясине не так противно,
как говорили. Он мог бы и дальше слушать,
но не ко времени в уши набилась тина.

В жиже по горло, без веры в подмогу свыше,
он погружался, нелепо вертя глазами.
И перед тем как пустить пузыри, услышал
жабий сочувственный выдох: «Моя ты зая».

ПОЛЫНЬЯ

То ли в трепетной юности, то ли в ночном бреду…
Не упомнишь в деталях, где было —
проходят годы.
Еремей на реке поскользнулся на тонком льду,
проломил ненадёжный покров
и ушёл под воду.

Смерть в суровом краю холодна
и остра как сталь.
Зазеваешься чуть на морозе — пиши пропало.
Еремей суетился, метался… Потом устал.
И решил: «От судьбы не уплыть.
Только жаль, что мало

повидал в этой жизни. И жаль, что всего одну
выделяют планиду на всякого постояльца».
И когда он совсем уж собрался пойти ко дну,
за кривые края полыньи уцепились пальцы.

Тяжело выбираться на воздух из-подо льда.
Под морозными звёздами быстро немеет тело.
Закричать бы сейчас, только в горле стоит вода.
Да и как-то не хочется громко шуметь без дела:

«И вообще, кто пожил в глубине —
к немоте привык!
Ни к чему нам, познавшим молчание,
шум в эфире».
Еремею не надобны больше ни вздох, ни крик —
будто целая жизнь пролетела в подлёдном мире.
Для чего ему голос, когда чешуя на лбу?
Изучать красноречие нынче, пожалуй, поздно.
И наверно, сподручнее тихо винить судьбу

и смотреть сквозь застывшую воду
туда, где воздух.

От лещей с пескарями уж точно не ждёшь беды.
Рыбы лучше, чем люди — любому ершу понятно.
Еремей покряхтел, заглянул в черноту воды,
почесал пятернёй в бороде и нырнул обратно.

ПАРОМ ИЗ ХЕЛЬСИНКИ

Шагнёшь — и пол уходит из-под ног.
Когда бы вправду был на свете бог,
ты стал бы тварью на ковчеге Ноя.
Конечный пункт — в невидимой дали.
И мысль, что под ногами нет земли,
не восторгает. Впереди — ночное

Пространство моря в дождевой пыльце.
Подсвечивая капли на лице,
прикуриваешь. Тянешь дым глотками.
И чувствуешь нутром, с каким трудом
плывёт сквозь шторм многоэтажный дом,
покачивая влажными боками.

Под шквальным ветром волны бьют в борта…
А где-то существуют поезда.
В них движутся вменяемые. Кроме
таких как ты. Извилист путь, увы.
Сначала самолётом из Москвы
до Хельсинки, а дальше на пароме

к друзьям: сидеть в кафе, глазеть в окно,
болтать о пустяках и пить вино.
Подняв очередной стакан под пиццу,

хихикать: «Нет, вы точно тормоза…
Смотри — всё те же люди год назад
на той же крыше клали черепицу!».

А сыбер (так на местном будет «друг»),
рассевшийся как конунг на пиру,
дожёвывая веточку укропа,
заметит, приподняв стакан в ответ
(в эстонском языке шипящих нет):
«Ты вецно едес в Таллин через зопу».

И будет на заре безмолвен мир,
когда трезвящий утренний зефир
пригонит вас на Ратушную площадь.
И станет слышно в блекнущей ночи,
как по камням копытами стучит
невесть откуда взявшаяся лошадь.

Всё ровно так и будет. А пока
очередную дозу табака
пришла пора спалить на фоне моря,
в балтийский воздух выпуская дым.
И верить в то, что будешь молодым
ещё лет сто. И жить, не зная горя.

Теперь на море штиль — стоит вода.
Пустой паром уходит в никуда,
маршрут теряя между городами.
На маяках давно погашен свет.
И то, что под тобой опоры нет,
становится всё явственней с годами.

СЛЕД

В пейзаже января сквозит усталость
от прожитого года. Тишина
такая, будто больше не осталось
живых по обе стороны окна.

Беззвучен город в серо-белой гамме.
Лишь заскрипит порой промёрзший снег
под чьими-то тяжёлыми ногами.
Как будто это снежный человек

в домашних тапках сквозь сугроб за пивом
протопал до ближайшего ларька
и в подворотне скрылся торопливо.
Да был ли он? Ответа нет пока.

Что говорить, ты сам похож на йети —
не всякий видел твой невнятный след.
И на вопрос, а есть ли ты на свете,
никто не даст уверенный ответ.

Зачем ты здесь, науке неизвестно.
В пустынные январские дворы
приносит ветер комья бесполезной,
но яркой новогодней мишуры.

И трудно верить в то, что всё растает,
и заструится вешняя вода.
Настанет день — судьба твоя простая
и вовсе растворится без следа.

Бесцветный зимний день недолго длится.
Сквозь тихий сквер наметив путь кривой,
старик выходит накормить синицу,
чтоб доказать себе, что он живой.

Санджар ЯНЫШЕВ

ПЕРЕУЧЕННЫЙ ЛЕВША

* * *

Знакомьтесь: переученный левша.
Молоко наливаю левой.
Чёрного лакированного офицера беру правой.
Женщину обнимаю правой.
Пишу сразу двумя.
Ход ноги делаю — не замечаю.
Убиваю левой.
Смотрю левым.
Не вижу правым.
Ничего не вижу.
Дайте мне этого левого, левого этого дайте!
Я не хочу ничего повторять: уберите знаки,
Вы не нюхали обугленную человечину, вы не
Я переученный левша: я прав, я всегда прав.
Мы сильная нация, мы умеем высасывать левый.

СМЕРТЬ СОЛДАТА

Я не тем оглушен, что погоста,
точно нехристь двурогий, лишен,
что свечного домашнего господа,
как блудный овен, отлучен.

И не тем, что, как в детстве из лука,
настреляться я так и не смог,
что не лег, как отцова наука
учит нас — головой на восток.

А — что вместо просторного гроба
я лишь кожей обернут сырой,
как какой сарацин, и природа
с пятиста меня давит сторон.

Мне другое обещано было:
как-то крестный мой Скарабей
на Покров говорил, что МОГИЛОЙ
МНЕ ВОЗДАСТСЯ ПО ВЕРЕ МОЕЙ.

Я не больно-то верую в Бога
как радетеля мертвых. Кабы
всё исчезло — ан вона как бойко
БЕЗ МЕНЯ продолжается быть.

Я сквозь ситечко вижу коренья;
крышки нету, всеяден песок…
Так лежу, словно умер. Но время —
как и раньше — летит на Восток.

Анастасия ТРИФОНОВА

ВОТ И Я РАЗБИЛА ГОЛУБУЮ ЧАШКУ

* * *

Всё проходит. И это пам-пам,
веселящие искры в груди,
необдуманный яростный план
по захвату всего впереди,

прежней нежности водораздел,
чувства, что наяву не видны —
смолкнут, как замирает капель
в ненасытные ясные дни.

* * *

Вот и я разбила голубую чашку,
а бежать не надо никуда.
Некого бояться, и никто не страшен —
чашка-то моя.

Ну, была — и ладно, я налью в другую
с юга привезённое мерло.
Я одна и рада. Правда, не горюю,
что былое умерло.

* * *

Сказочник, злодей, стакан кизлярки
двигает, таращится в лицо,
оставляя полосу неяркую,
вдавливая каждое словцо.

Марево, забудка, прошлый вечер —
в чём очнешься, если повезет:
в чистом поле, в безымянной речке,
где туман по камешками ползет?

Ящеркой тугой, лозой холодной,
взглядом исподлобья, сном пустым —
проскользнешь и кончишься природно,
чтоб от всякого греха остыть.

Чтобы стать невыдуманной сказкой —
сколько их с начала всех начал:
он хороший человек, согласный,
как никто боялся и молчал.

* * *

Когда становишься ненужным —
больным, стареющим, натужным, —
спешишь труды свои доделать,
пока уму покорно тело,

находишь кошку не всерьез
и понимаешь — перерос.
По пузу вечерами гладить
её, конечно, благодать,

да только некому оставить,
когда придётся оставлять.

* * *

Я взрослый человек, мне ближе к сорока.
Но возвращает жизнь к тринадцати и раньше:
ко мне пришёл сосед, его рука легка,
мы будем проходить на «Сеге» черепашек.

Нелепость, прихоть, блажь — как ты ни назови,
но эти два часа так быстро пролетели.
Мальчишеский кураж и наш инфантилизм
помогут одолеть ещё одну неделю.

Тяжёлый перелёт сквозь трудовые дни,
все, будто бы один, — досадная случайность.
Пусть изредка горят беспечности огни,
чтоб приземлиться тоже получалось,

чтоб открывать глаза хотя бы иногда,
чтоб слушать мир во всём его многоголосье
и узнwавать свой смех, и помнить, что игра
не так уж и сложна, не так уж и серьёзна.

ПОКОЙ

От непостижимого звёздного неба
звенит в ушах:
Большая Медведица, Малая, Орион,
спутники Илона Маска ниточкой бус спешат
и удаляются за горизонт.

Пруд недвижим и ласков — холм берега,
дальний лес,
наши причал и кресла тоже двоятся в нем.
Не приглядываемся к лицам и говорим как есть,
то есть — почти обо всём.

Пальцы окоченели, октябрь,
но мы не идём в отель,
раз остается кола и «Кенигсберга» штоф,
чтобы согреть сознание наших непрочных тел
и протянуть ещё.

ПРИНЯТИЕ

Появляешься вдруг на исходе лета,
забираешь меня, везёшь на край света,

показываешь свой будущий дом
с панорамным окном

во всю стену гостиной,
знакомишь с пятилетним сыном,

дочка боится чужую тётю, плачет,
выглядывает из-за твоих ног.

А я радуюсь, и никак иначе:
хотя бы один из нас всё это смог.

Анна МАРКИНА

ЛЕБЕДИНАЯ ДРОЖЬ ТЕТИВЫ

* * *

Это было с нами. Этот тяжелый год,
Кое-как пережитый, прореженный до пустот,
Он запомнится тем, что рядом остался тот,
Кто умеет ночь выдерживать, не темнея,
Тот, кому мы были всего нужнее.
Белый шов из скорых. Вирусная кайма.
Нас хранила медленная тюрьма,
Мы с крыльца смотрели: глухая тьма,
Где спускается снег и гибнет внизу бессильно,
Но страдание все-таки выносимо,
И столкнувшись с этой теменью лобовой,
Когда смерть берёт, как преступников, под конвой,
Ты острее чувствуешь, что живой.
Лучше знаешь цену всему тому,
Что не отпускает тебя во тьму.

* * *

Морзянка утра: лиственные точки,
тире ветвей. Ворчание ОРВИ.
Иди, чумной, гулять на поводочке
у заскучавшей медленной любви.
На нежность и прощение скупая,

зима на простынях за белизной
лежит и от себя не отпускает,
как тихо умирающий больной.

За лебединым, дроздовым, вороньим,
по слезному, по тающему льду
пройдем и это время похороним.
А я под снегом стеклышко найду

и под него у сердца где-то спрячу,
за светом в обрамлении чумы,
соленый гул, и поцелуй горячий,
и образ обессилевшей зимы.

* * *

За городом, за кленами
Такая бирюза,
Природа воспаленная,
Как мамины глаза.

Бывало, что работали:
Читали все подряд,
Но вот они, но вот они
За кленами горят.

Все мается, все шаткое,
они следят весь день,
Как будто просят: «Шапку-то…
Ты шапку-то надень».
Спасут как будто что-нибудь,
Они, следя за мной…
Отрезок неба тоненький.
И голос за спиной.

* * *

Раз в году приезжаешь к родне
и стараешься быть на волне,
но течение мыслей относит
от их быта, где стынет река
прокисающего молока
и опоры стоят на откосе.

Ты, зеленый тепличный побег,
чем поможешь ты им, человек
надувной, помидорка столичная?
Запечен под московской фольгой,
ты настолько нездешний, другой,
что они тебя ловят с поличным:

мало шлешь о себе новостей,
до сих пор не заводишь детей,
будто чувство семьи не окрепло.
Переходишь молчание вброд.
Прополов небольшой огород,
уезжаешь в столичное пекло

от их дома, где печка чадит,
где надежда берется в кредит,
от малюсенькой точки на карте.
И о маме скучаешь сильней,
и обрубки усталых корней
волочишь через темень плацкарта.

* * *

Много снега, мало денег,
Плачу ночью на полу.
Жизнь меня, как нитку, вдела
В узкоухую иглу.

Узкоухи, узколобы
Я, игла, они, оно.
Каждой ночью Пенелопа
Распускает полотно.

Было море… и озера,
Компас, люди, корабли.
Был узор. И нет узора.
Нитка вьется на мели.

Этой ниткой можно вышить
Путь домой, волненье вод.
Ткани нет. Лежит прокисший
За окошком небосвод.

Тихий плеск ассоциаций.
Шов неровный у судьбы.
Не порваться, не порваться,
Не порваться только бы.

УКАЗ

Приказали на топоре внести
Указ —
без всяких там обходных лазеек:
бабушки плохо сидят в театрах,
бабушки плохо сидят в музеях.
Всех изгнать.
Переизбыток древностей.

Небо над городом начинает рдеть.
Есть ли разница бабушкам, где сидеть?

Сложностями времена прошиты.
Опасностей вдосталь.
Пусть сидят по домам под защитой.
Пусть сидят со всеми удобствами.

Не дали открыть и рта нам.
Загнали на дно, как ихтиандров.
Изгнали бабушек из музеев.
Изгнали бабушек из театров.
Бабушки стали таять.

Потому что, когда отвернулись
и когда от целого отрезают части,
через щелочку оконную и дверную
жизни не достучаться.

Таяли, таяли и растаяли.
Культура стоит пустая.

Но я знаю — растаяв, осадком культуры став,
они выпали все на своих постах:
этим «чщщщ», прокатанном сквозняками,
этим слежением за руками.
Они там — бессменные и живые,
Вечные стражницы угловые.

Родион МАРИНИЧЕВ

ПРИРУЧЁННЫЙ ВОДОВОРОТ

* * *

Спустишься из железного тамбура в иван-чай,
ищешь среди стволов дорогу
из жёлтого кирпича,
пугало над жидкой изгородью,
крышу вдалеке под изморосью.

Воздух влажен и нов.
На дворе трава, на траве — дрова.
Встрепенётся неслышно бражник
мёртвая голова.
Море волнуется три — и фигура застыла.
Стоишь посреди комнаты, посреди мира,
не успевая двери и окна в слова облечь,
пока тишина у тебя отнимает речь.

Ищешь железного дровосека на антресоли,
ищешь воздушный шар над полем,
как неопровержимую правоту…

День фиолетов, зернист, неподвижен.
Ты большеглаз, щупл и коротко стрижен.
Поезда за лесом идут и идут.

* * *

Неважно, осознанно или случайно,
ветром или волной:
окно электрички, станция Приедайне
за этим пыльным окном.

Цепляясь за край деревянной скамейки,
уволок бы оттуда в горсти
горячую приторность карамельки,
кратковременные дожди,

пса с повадками зверолова.
Крикнешь за семь морей —
и летит невыломанное слово,
отпущенный воробей.

А дальше — в сказках нашего леса
блеснёт на пальцах смола…
Тридевятое царство, «рельсы-рельсы»,
звонкий собачий лай.

* * *

Время и пространство
искривляются на солнечном километре МКАДа,
на лобовом встречного грузовика.
Видишь издалека:
цветёт белое, жёлтое, розоватое.

Тепло колышущегося материка
начинается у порога:
минорное тро-ло-ло и мажорное тра-ла-ла.
Искрящийся проживаешь день.
Тень от сирени, короткая и густая,

как сама сирень.

Жизнь началась
с лоскутов подорожника на краю тротуара,
с голубей над метромостом,
с горящего неба, жёлтого и розоватого,
над девятнадцатым этажом.
Множится тополиный ряд,
и белые комья
летят над бетонным Памиром,
словно все бабочки мира —
толстоголовки,
бражники,
тутовый шелкопряд…

В преломляющихся лучах
вспыхивают и горят.

* * *

Экскурсовод по имени Аня
носит значок на нагрудном кармане.
Брат у Ани — солдат, отец — инженер.
За спиной у Ани — КНДР:
кукурузных полей взъерошенные холмы,
плоскотелых домов дымы.
И налево — КНДР, и направо — КНДР,
по диагонали и вниз, и вверх.
Сядешь в тени у обочины — вот, смотри:
весь поднебесный мир на тысячу ли.
Бронзой сверкают царь и царевич степенные.
Аня смотрит почтительно, вдохновенно.
Зовут её Ким… а дальше ещё два слова,
но можно Аня — проще простого.

* * *

Темнеют жерди сухих осин…
А. Белый

Когда долают собаки
и выскользнет из-за крыш луна,
я напишу на бумаге
знакомые имена.

Летящие прописные буквы,
петляющий след чернил —
едва обуздавши руки,
ненужное зачеркни.

Нечаянно нарушаешь
стозвонную тишину,
в который раз возвращаясь
к полуночному окну.

Всё снова видится в розовом,
как будто с красной строки.
Под медленным током воздуха
темнеет рукав реки,

свободный от ледостава,
а небо — алмаз и ваниль.
И слышишь густые травы,
и видишь пустые пни.

* * *

Возвращаясь домой, в себе не спугни ребёнка,
чтобы вновь удивиться, как в тишине гробовой
восходящего утра к ногам припадает позёмка,
словно пожар низовой.

Белые крыши страны. Над проводами — побеги,
дым над котельной, тугие белые снеги,
как молоко парное в качающемся ведре,
шагов негромкая речь.

В шуршащей бязевой колыбели расти, просыпаться,
дверь запирать, уезжать навсегда, возвращаться
к домотканому коврику,
к выбеленной стене,
незыблемым телом своим обращённой к рассвету,
к декабристу на утеплённом окне.

Вдетый в оконную раму или вышитый на подушке,
негромкий пейзаж собой подпирает кров.
Сахара белый кубик
падает в горячую кружку,
в приручённый водоворот.

Андрей КОРОВИН

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ

ПАМЯТИ ОЛЬГИ ПОДЪЁМЩИКОВОЙ

1

кто был из нас кто не был виноват
теперь не важно небо стало выше
и яблоневый нынче снебапад

чердак скрипит и дождь стучит по крыше

вся жизнь твоя артхаусный обман
богема революция и ссылка
как я мальчишкой был тобою пьян

стучат иди тебе с небес посылка

спасибо за свободу через край
за неуют семейного уюта
за обитаемый а не лубочный рай

за жизнь и за любовь без парашюта

все спорили с тобой о небесах
в стихах статьях и музыке неспетой
речь облетает как листва в лесах

мороз уже не стой в дверях раздетой

2

с тех пор так много счастья утекло
что патиной подёрнулось стекло
где мы с тобой — две птицы — трепетали
у низкого и пыльного окна
где улица как музыка видна
мы петь давно с тобою перестали

скажи мне кто из наших в том раю
я в осени оснеженной стою
в том октябре что стал твоей пропиской
твой дом теперь тебе и мне чужой
лишь домовой что мается душой
мне в этом доме нынче самый близкий

нам по утрам в окно звонил звонарь
качался мутно за окном фонарь
и ты спросонья открывала ставни
в халатике поверх ночного сна
и дом скрипел как старая сосна
как будто бы навеки был поставлен

3

помнишь соль кидали через плечо
чтобы насмерть не разругаться
а потом ругались так горячо
что могли навек разорваться

помнишь как гитару рвали из рук
ты споёшь я тут же тебе отвечу
помнишь тех друзей неширокий круг
куда днём и ночью мы шли на встречу
помнишь жизнь короткую как свою
и пока я помню тебя ты длишься
ты всё реже снишься в своём раю
ты всё реже и реже снишься

ПАМЯТИ ВИКТОРА ГОФМАНА

Витю Гофмана убили
Витю Гофмана нашли
с пулей в собственной квартире
выше неба и земли

великан поэтский Гофман
в Дом Волошина ходил
так велик был Виктор Гофман
даже в дверь не проходил

он птенец гнезда Бориса
он из Слуцкого гнезда
он лежал под кипарисом
провожая поезда

что ему бы в Коктебеле
не остаться до зимы
где лишь волны да метели
шепчут древние псалмы

Витю Гофмана убили
за старинный медный грош
Витю Гофмана убили
где его теперь найдёшь

ПАМЯТИ ЛЬВА БОЛДОВА

В Коктебеле мы сойдёмся снова…

пожевав унылых бутербродов
музыка выходит из кафе
выпьем что ли Лёва
Лёва Болдов
за любовь к прирученной строфе

нам в московском небе нет спасенья
нам для веры нужен вечный Крым
пусть сегодня будет воскресенье
смоем наш столичный грустный грим

здесь пред Богом под его перстами
мир лежит как в юности нагой
всё что раньше в жизни было с нами
не играет роли никакой

и пойдём прихлебывая граппу
ялтинских курортников пугать
кончатся финансы бросим шляпу
будем им свои стихи читать

обнимая крепкие платаны
девушкам нашёптывая стих
мы с тобой приморские жиганы
делим Крым по-братски на двоих

в прокопчённом солнцем Коктебеле
мы с тобою встретимся опять
и пускай все рифмы облетели
мы пойдём над звёздами гулять

ПАМЯТИ АННЫ САЕД-ШАХ

Олегу Хлебникову

когда вот так любимая уходит
как зимний день как белый пароходик
рыдаешь в Богом данную подушку
собаку кличешь или просто кружку
выходишь в тьму колючую как веник
где звёздами осыпался кофейник
и ночь нежна но не нежней любимой
теперь уж не тобой во сне хранимой
а совами и прочими богами
летающими в соснах между вами

ПАМЯТИ ЛЁШИ ЕФИМОВА

ну что скажи в какие реки
мы опрокинуты дождём
деревья птицы человеки
зачем мы дышим и о чём

вот светят фарами тумана
два одуванчика в глаза
и жить не бона а намана
— кто здесь?

ответит
— Фируза

но что-то греет без причины
гремит как музыка о том
что мы поэты и мужчины
земле лишь тело отдаём

ПАМЯТИ СТАРШЕГО МАТРОСА АЛЕКСАНДРА ЕРЁМЕНКО

не надо торжественных песен
моряк отбывает в село
в алтайском его поднебесье
шаманское небо светло

петроглифов дерзкая стая
базальтовых твёрдых пород
из речи его прорастает
и в русских центонах живёт

среди бестолковых поэтов
он старший хотя и матрос
и в белое облако это
стихами своими пророс

и кем бы его ни венчали
на царство поэтом царём
его как поэта встречали
хотя он и был королём

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА

глянешь в зеркало встретишь того кого нет
подающего странные знаки
ты и сам лишь на миг появился на свет
по дороге в Россию с Итаки

здравствуй Лёша кивнёшь непонятно кому
и хлебнёшь отрезвляющий виски
завсегдатай днепровских разгульных коммун
ты ушёл навсегда по-английски

и я слышу ночами в паучьей сети
как гудят небеса перехвата
как ты споришь и споришь о Млечном Пути
с хирургинею из медсанбата

Евгений ЛЕСИН

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПО-ПЛОХОМУ?

* * *

Щи да каша наша Раша
То баланда то параша
Бог не выдаст и свинья
Тоже родина моя
И корова и коза
Не нажать на тормоза
Воля счастье и покой
И береза над рекой

* * *

Постарайся уж не упасть,
И скрывайся, молчи, таи.
С новым годом, родная власть,
С новым горем, друзья мои.

Хорошо им жиреть и красть,
Хорошо нам жить-горевать
С новым счастьем, воруйте всласть.
С новым годом, Россия-мать.

Вроде кажется: все не зря,
И не все в трубу и дуду.
31-е декабря,
И коньки на Чистом пруду.

Поглядите на москвичей
Безнадежно давно больных:
С новым годом всех палачей,
С новым сроком, всех остальных.

* * *

У них в аду какие-то круги,
Зато в раю, наверное, квадраты.
Мы никогда ни в чем не виноваты,
Предатели повсюду и враги.

Они с Лукавым точно заодно.
А нам-то что? Нас вывезет кривая,
Когда с колен Россию поднимая,
Опять пробьем очередное дно.

ПРО ИВАНА ГРОЗНОГО

Дай, Господь, побольше ноши,
Чтоб не маяться тоской.
До чего же царь хороший,
До чего народ плохой.

Прячешь в подполе иуду?
Прячешь мысли в бороде?
Нацпредатели повсюду,
Нацвредители везде.

Окуни свиную харю
Прямо в кровь. Еще ударь.
Слава, слава государю.
Угощайся, добрый царь.

Наточили, гады, перья,
Делу дьявола верны.
За утратою доверья
Перережем полстраны.

Кто там вырвался из плена?
Жрет чужие пироги…
Всюду подлая измена,
Всюду злобные враги.

Век бы нам такого парня,
Как наш царь, ура судьбе.
Пой, опричная мусарня,
Пей, кромешный КГБ.

* * *

Вези, Харон, в своем такси,
Гони, извозчик царства мертвых.
Не верь, не бойся, не проси,
Гони коней своих упертых.

Ну что, Харон, ты приуныл,
К чему тоска, зачем обида?
Гони, Харон, своих кобыл
В страну теней, страну Аида.

У нас, конечно, денег нет,
Ну так у вас никто не платит.
Один Сизиф лишь много лет
Куда-то камень мирно катит.

Давай, Харон, вези, родной,
Да с ветерком вези, бродяга.

А мы накатим по одной,
У вас тут сказочная брага.

Гони коней своих, гони,
И не грусти, что забесплатно.
Мы покатались. Извини.
Пора, Хароша, нам обратно.

* * *

Вот и все. Повели из дому,
На душе и снега и лужи.
Не желаете по-плохому?
По-хорошему будет хуже.

Две буханки и три батона,
Полетела на дно держава.
Наркоманы. Огни притона.
Хулиганы, менты, облава.

Наша жизнь — поцелуй да в кому,
Затяни пояса потуже.
Не желаете по-плохому?
По-хорошему будет хуже.

По-хорошему нам портвейна,
По трамваю гуляю хамом.
Никакого тебе бассейна,
Лишь бутик, что назвали храмом.

Здесь не место тебе, чужому,
Хорошо только там, снаружи.
Не желаете по-плохому?
По-хорошему будет хуже.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

ВСЁ ОСТАВЛЕНО ТАК, КАК ДО МЕНЯ ЗДЕСЬ БЫЛО

* * *

Я люблю гостиницы. Их уют —
Просто к нам бродягам скупая жалость.
Стол и кров на время тебе дают,
И ты знаешь, сколько его осталось.

Я люблю гостиничный крепкий чай
И случайно купленное печенье,
Я люблю гостиничную печаль,
За окном чужие огни и тени,

Ты один. Всё честно и без прикрас,
Даже без почти что родных предметов…
Так легко собраться в расчетный час,
Потому что лишнего вовсе нету.

Никаких прощаний. Один сквозняк
Занавеской пыльной махнёт вполсилы.
Дверь закрыта. Всё оставлено так,
Как до меня здесь было.

В КОМАРОВО

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
А. Ахматова

Анна! Анна! — Тишина.
А. Блок

Льдисто, ветрено и звёздно.
Ночь бездонна и бесслёзна.
Только лишь сосна сосне
Тихо шепчет в полусне:
То ли — «Слышишь...», то ли — «Поздно...».
Меж ветвей чернеют гнёзда,
Меркнет свет в чужом окне.

Где — в сиянии, во тьме ли
Те, кто всё ж пройти посмели
Ломкой линией судьбы,
Тонкой вязью ворожбы,
Острым лезвием метели?..
Анна, помнишь, как шумели
Царскосельские дубы?

Только ветра вздох глубокий,
Только тающие строки:
«...Эта женщина больна,
Эта женщина одна...»
Только лишь срока да сроки —
Дом казённый, путь далёкий...
«Анна! Анна! — Тишина».

* * *

Боящийся не совершенен в любви.
Первое соборное послание
Иоанна Богослова, 4,18

Плачет рождённый в ещё не осознанном страхе,
Вытолкнут в мир непонятно за что и зачем.
В смертном поту, в остывающей липкой рубахе
Кто-то затих, от последнего ужаса нем.

То, что выходит из праха — становится прахом.
Между двух дат угадай, улови, проживи
Эту попытку преодоления страха —
Жизнь, где боящийся несовершенен в любви.

СТАРАЯ ЛОШАДЬ

Ей повезло: спина седло забыла,
И шпора не тревожит потный бок.
Спокойно дремлет старая кобыла —
К ней милосерден лошадиный бог.

Есть у неё теперь покой и воля,
И тёплый кров, и чистая вода…
Что снится ей? — Ковыльное раздолье,
Неудержимый бег невесть куда?

Что снится ей в неверном лунном свете,
Когда все грани призрачно-тонки? —
Мерцание теней и ветер… ветер,
Летящий рядом наперегонки,

Мелькнувшей ветки смутная тревога,
Далёкий зов непаханых полей?..
Всё легче бег. И лунная дорога
Всё ближе, всё просторней и светлей.

* * *

Кошки приносят Богу своих мышей.
Английский бестиарий XIII в.

Кошки приносят Богу своих мышей —
Чистосердечную лепту трудов земных.
Бог гладит кошек между чутких ушей
И улыбается, благословляя их.

Слушает Бог, как мурлычут потомки Баст,
Смотрит на них сквозь клубящиеся века.
Он приютит и пушистые шубки даст,
В блюдце нальёт тёплого молока.

Пусть они ловят пришельцев из чёрных дыр —
Юрких мышей и серых зловещих крыс.
Пусть хранят урожай, украшают мир —
Тот, что над бездной капелькою повис.

* * *

и крест свой бережно несу…
А. Блок

От войны не желай себе славы,
Скороспелым стихом не греши,
Не бренчи, не витийствуй лукаво,
Громозвучных словес не пиши.

Не спеши на парнасскую горку,
На чужой не красуйся крови.
Помолчи о земле своей горькой,
И дыханье её улови.

Помолчи. Стань спокойным и зрячим,
Чтоб достойно свой крест пронести,
И в молчании этом горячем
Дай зерну, умерев, прорасти.

Что там слава? Тебя ли, другого
Будут ею сегодня венчать —
Перед Богом за каждое слово
Полной мерой тебе отвечать.

Вадим МЕСЯЦ

В СУХОМ ОСТАТКЕ

* * *

Дети прощаются второпях,
предчувствуя вечную жизнь.
Я размышляю, какими они
запомнятся мне на этот раз:
мальчик выкручивает руль внедорожника,
чтоб не улететь под откос,
дочь просыпается
и сидит на койке, хлопая глазами.
Мы идём со старшей
по ночному городу.
И ничего не боимся.
Страна утопает в весне,
но я не могу заставить себя
поверить в цветение
и в то, что зло — лишь тень ангела,
парящего над землёй.

DESPERADO

Они берут в заложники старика.
Думают, мы его не бросим.
Типа мы порядочные люди.
Чего только не думают о нас.
Мы идем по громыхающему Ньярку,
с отвращением глядя на золото витрин,

обдолбанных африканских парней,
ничем не отличающихся от тех,
кто сопровождает нас до банка.
Может правда сбежать?
Поймать такси и уехать.
Хороший был день, говорит Майк,
но вы испортили мне его.
Ты так ценишь свое время?
Это ты испортил нам день, козел.
Ты и твоя братва. Ряженые идиоты.
Я колдун, сообщает он. Вызываю дождь.
Нахуй нам твой дождь, Майк.
Я насылаю порчу на своих врагов.
Нахуй нам твои враги?
Заплатить триста баксов
за свободу русского поэта
может не каждый русский поэт.
Не съедят же они его. Или съедят?
И не надо мне про эту вашу борьбу
про Черных Пантер, чье место на Колыме.
Типа они порядочные люди.

Типа не бросают друзей в беде.

ДОЧЬ

Ночью, лежа под Южным крестом,
на лежаках в подступающем приливе,
я заговорил с тобой о бесконечности мира,
и сказал, что если он бесконечен,
то где-то такие же двое сейчас
размышляют о нас.
Наверное, нет человека
с которым я бы мог обсуждать эту чушь,
а с ребенком это случилось само собой.

ВО МЦХЕТЕ

Я молился за нашу любовь
в Мцхете под раскаленным солнцем.
Начинал понимать чужую речь,
когда с пьяным Мамукой
считал червонцы
за садовым столом.
Мы ехали по стране:
и я запоминал названья провинций,
куда привезу тебя,
если мы встретимся вновь.
С ржавым скрежетом
мы поднимались в горы.
И несли к свету как цепи

грехи своих отцов.

ДОГАДКА

Когда-нибудь легкомысленность,
которая не позволяла мне страдать
и принимать вещи всерьез,
сменится страхом,
что я был попросту равнодушен
к явлениям жизни,
и только смерть
вызывала минутное любопытство,
словно сквозняк

у наглухо задраенного окна.

Юрий ТАТАРЕНКО

ЭТАПЫ МАЛОГО ПУТИ

* * *

Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-тушки —
Пританцовывал поезд ночной,
И вжимались в Россию избушки
После слов: «Ну, ещё по одной!»
И казалось мне, так будет вечно —
А потом там, где надо, сойду —
И рассматривал благоговейно
На каком-то погоне звезду…
Опустели плацкартные нары.
Загрустил засыхающий сыр.
И твердит проводница Гульнара,
Неприступная, как конвоир:
«Собирайтесь. На выход — с вещами!» —
И начальника поезда ждет.
Листопад на свободе и счастлив.
Неужели и мне повезёт?

НОВЫЙ СВЕТ

Выспались камни
И стали расплющивать волны.
Скажут враги:
Ерунда, воспаленье зимы.
Каждый четверг
Замышляются новые войны.
Каждый апрель
Выползают сосульки из тьмы.
Час до рассвета.
И боязно вздрагивать стрелкам.
Страшно, когда
На пилу ополчился топор.
Сосны нас учат
Искусству проигрывать с треском.
А в театральных училищах
Вновь недобор.

ПРИЦЕПНОЙ ВАГОН

Пассажирам плацкарта
Без разницы, вор ли, убийца.
Наплевать проводнице,
Мешать ли портвейн с коньяком.
Горизонт умотался —
С трудом напрягает свой бицепс.
С банкоматами Сбера
Не шутят клиенты Тинькофф.
Снова небо ночное
Луна засадила нулями.
Активирован красным
В мозгу нетерпимости чип.
И во сне новобранца

Стреляют, стреляют, стреляют.
И, проснувшись под утро,
Молчит он. Молчит он. Молчит.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ГОГОЛЯ

Никак колесо не докатится
До красных московских ворот.
А небо — сильнее, чем кажется.
Впадает в нетрезвость народ.
Но вспомнится вдруг — невесомая
Любовная трель соловья…
Россия — туманная, сонная,
Особенная. Моя.

ФЕЙК-СТИХИ

«Падать не духом»
Сложить в понедельник и выпить.
Вычесть субботу
Из мощного ведомства. Уф.
Встретить бомжа.
Показать документы. Не выкать.
Не рифмовать
Аюдаг, мускатель и Гурзуф.
Самое главное
В людях и снах — оболочка.
Вологду всё-таки
Не отличить от Керчи.
Не прислоняться
Ни к небу, ни к гению. Точка.
Двери вагона метро
Тоже в список включи.

ОКТЯБРЬ. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Семь часов до Читы.
Все вагоны пусты.
Наполняется кружка «Тархуном».
Не тревожить руды.
Просто жить вдоль воды.
Синева — то, что делает юным.
Обогнули Байкал.
Водки просит рука.
Сопки требуют криков с вершины.
Поезд молча идёт
Мимо слов, мимо нот,
Мимо плача пожарной машины.
За окном Селенга
Не пустилась в бега.
Поседела до снежных повесток.
Всё готово к весне.
И до кладбища мне —
Пара сотен недельных поездок.

Елена СЕВРЮГИНА

ЛЮДИ-РЫБЫ

* * *

голова усталой песни
опустилась покатилась
по дороге вдоль обрыва
и рассыпалась на звуки
на бемоли и диезы
на мажоры и миноры
до-ре-мины си-ля-доты
трум-пум-пушки
трам-там-танки

* * *

нам не надо этой песни
огибающей долины
душной лентой рек багровых
чёрной дымкой громкой скорби
лучше всхлип речного ила
где беззубые моллюски
в немоте произрастая
обретают хрупким телом
океана мерный голос

* * *

у всего на свете голос
будь то сокол или нерпа
кабарга или акула
или заросли осоки
у всего на свете имя
что трепещет оберегом
зыбкой тайнописью строчек
не написанных в тетради
в сердце музыки пропетых

* * *

летейские слёзы
печали дали
души терпеливая грусть
но катится слово
до края земли
рисуя тебя наизусть
предчувствуя вечность
за гранью вещей
ее проживая насквозь
сцепляешь осколки
земных мелочей
в единую тонкую ось

осу золотую
стальную струну
со звоном
летящую в дом
когда приглашает
в свою тишину
тоскливый
оконный проем

ты снова свободен
разорвана цепь
и можно идти до конца
иное лицо
проступает в лице
и снова не видно лица

в пустынных тоннелях
подземной страны
ты ищешь
затерянный приз
а чьё-то дыханье
узором стальным
дрожит на стекле
торопись
мгновенье ещё
и закроют проезд
пойдет к магомету гора
но осы звенят
продолжается квест
твоей остаётся игра

* * *

я купила ангела на счастье
на развале возле медсанчасти —
на дешёвой ниточке льняной
скромно он висел у проходной,
опустив потрёпанные крылья —
там, где люди-реки торопились
в океан не-ангельских проблем,
не был он востребован никем

я не знаю, что со мною было,
что меня тогда остановило
в час дневной, затопленный людьми,
но внутри затикало «возьми» —
и теперь смотрю, когда мне грустно
на него, висящего на люстре,
в свете лампы мощностью сто ватт —
начиная чувства рифмовать

веря в то, что счастье где-то рядом,
и легко становится под взглядом
отрешённых ангельских очей
посреди привычных мелочей
я так долго ангела искала —
чтобы ничего не отвлекало
от его невзрачного тепла,
я его искала и нашла

* * *

люди плывут видишь люди плывут на работу
по дороге теряют шляпы плащи и боты
и у всех на лице заботы дела заботы
и так до субботы до выходного дня…
и наверное надо кому-то сказать «спасибо»
за то что повсюду плавают люди-рыбы
я это чувствую я это вижу ибо
от рожденья особое зрение у меня

и волнуется море и небо блестит как смальта
а людям кажется они идут по асфальту
по простому такому по серенькому асфальту
и нет у них жабр и причудливых плавников
и все они так глубоко в своих тайных норах
прячут от мира загадочный рыбий норов

и никогда не уйдут из своих камор off
камер закрытых от света и сквозняков

и я обращаюсь к аллаху кришне и будде
пусть они скажут что люди совсем не люди
что у них вместо ног хвосты
гениальный рудимент чтобы плавать
на самом глубоком дне
но остаётся на сердце тяжёлый камень
люди идут размахивают руками
пренебрегая звёздами сквозняками
и огромная рыба
(вот уже в стотысячный раз наверное)
опять умирает во мне

Олег ХЛЕБНИКОВ

В КОНЦЕ БУДУЩЕГО

* * *

Большинство человечества младше меня.
И поэтому говорю:
не туда вы бежите от Судного Дня —
это я и ментам, и ворью.

В прошлой жизни встречал и достойных ментов,
и воров симпатичных почти.
Но вселенский закон и весом, и суров —
ты его на скрижалях прочти.

Да беда разучились читать и считать.
И какой нам выставлен счет —
слишком мелкими буковками?
Опять
обманули. Обманут еще.

ПОСЛЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ

Анне Саед-Шах

…У нас-то? Ковид да война.
Ковид — это люди без лиц —

все в масках с утра дотемна
и позже — в покоях больниц.

И руку подать западло,
обняться — очнуться в СИЗО.
А если кому повезло,
домашний арест и *unco*.

Ты этого слова совсем
не знаешь. И лучше не знать.
Война же, обрыдлая всем,
безумна, как Родина-мать.

Но с ней — без тебя и меня —
до Третьей уже мировой,
до дна или Судного Дня
дойдет даже кто-то живой.

ПОСТ ПЕРЕДЕЛКИНСКОГО СИДЕЛЬЦА

Надо мною гудят самолеты,
очень грозно гремят.
Это Внуково рядом — чего ты
опасаешься, брат?

Это — ближе еще Одинцово
и Рублевка. Они
нависают над нами свинцово,
как февральские дни.

Мы-то если и что воровали,
то по мелочи. Значит, вина
наша больше? Но не воевали,
хоть не делали ни хрена,
    чтоб отстали дроны,
    чтобы пали троны,
на которых сидит сатана.

АНГЛОСАКСАМ

Что же такое для вас Россия?
Нет, не мессия, да, не мессия.
Да непонятно что —
стреноженный конь в пальто.

Но первой это она, вестимо,
мир о пришествии известила —
только вот не Того,
Воланд кликуха его.

Что же все же она такое?..
Ива, плачущая над рекою,
и между пальцев вода —
сырье для грядущего льда…

* * *

Очень жалко человечество
в половом его плену.

Я-то ладно, мне-то нечего
ждать любовь, а не войну.

Только тяга к размножению
на нежнейшей из планет
держит нас до изможденья
наших сил и наших бед.

* * *

Те, к кому не пришел я на похороны,
мои похороны не посетят,
что, наверное, значит: с тех пор они
даже знать меня не хотят.

Дорогие ушедшие близкие,
не простившись, простите меня!
Где-то там же, в том горестном списке я,
искупая свой грех и храня.

* * *

Я пережил своих учителей.
Самойлыч был старик и дядька Слуцкий.
И кто из них, доселе спорят, лучший,
а я не превзойду их хоть убей.

Но шанс остался, коль убьют меня.
В России еще любят *убиенных*.

Хоть их все больше — мирных и военных —
и смерть уже не помнит имена.

* * *

Я прошел свой путь к забвенью —
слишком скромным оказался
и ленивым, без сомненья,
а считали, что зазнался.

Мне казалось: неуместно
на пиру среди чумы
тост приподнимать известный —
тот за солнце против тьмы.

Тьмы и тьмы нас, этих скромных,
промолчавших жизнь свою.
И ничто не держит — кроме
любопытства к бытию.

* * *

Не желаю с человечеством общаться
с помощью дырявых соцсетей.
И считаю чем-то вроде счастья
покормить собак и голубей.

Потрепаться с умным псом и глупым
голубем — но он за миру мир.

И за это мы его возлюбим.
Слышишь, пустоглазый командир?

Ты его не упакуешь в клетку —
голубь мира реет в небесах.
В клюве держит он благую ветку
у любой собаки на глазах.

* * *

Вначале было Снова
и не было начала.
Вот и конца такого,
нелепого, гнилого,
ничто не предвещало.

Крутились мы, стараясь,
чтоб дальше друг от друга.
И это удавалось,
поскольку ускорялась
вселенной центрифуга.

И все поодиночке
летим мы в эту млечность,
где звезды только точки,
материи комочки,
но излучают вечность.

II

КРИТИКА

Елена СЕВРЮГИНА

ЭЛЕГИЯ ВОЗДУХА

О «Велимировой книге» Владимира Гандельсмана

О «Велимировой книге»[1] следует рассуждать не как о чем-то стоящем в ряду аналогичных явлений, а, скорее, как об исключении из общих правил. Это касается и литературного процесса в целом, и творчества Владимира Гандельсмана в частности.

Здесь сразу хочется вступить в диалог с Владимиром Козловым, автором статьи о стихах Гандельсмана, завершающей «Велимирову книгу». Фундаментальная статья, охватывающая значительную часть корпуса текстов Гандельсмана, проясняет многое в особенностях его «парадоксальной поэтики» и художественного мировоззрения. И все же, когда речь идет о личностях такого масштаба, разговор никогда не может быть исчерпан. Вот и мы попытаемся сделать несколько наблюдений, отталкиваясь от выдвинутого Козловым тезиса: «Образ Владимира Гандельсмана постоянно ускользает — возможно, это одно из лучших качеств поэта».

Ускользание, призрачность, непостоянство при наличии повторяемости — черта, присущая стихии. Именно стихийность представляется ведущей чертой поэтики Гандельсмана. Его поэзия — это энергия освобожденного воздуха. Поэт буквально опирается на воздух, чтобы вплетать в него смыслы и образы. Многие осмысливают воздух как пустоту, ничто, творимое из ничего. Но в контексте «Велимировой книги» это ничто или нечто равнозначно тютчевскому тезису «Всё во мне, и я во всём».

Первоначальной точкой отсчета в построении призрачной, по-

[1] Владимир Гандельсман. Велимирова книга. — М.: Воймега ; Ростов-на-Дону: Prosodia, 2021. — (Серия «Действующие лица»)

лумифической реальности является сам поэт, и воздух порождает определенные формы только силой его демиургической власти. Не это ли сближает двух Владимиров-Велимиров? Природа их поэтического дарования родственна и проистекает из одного источника. «Так откройте форточки. Откройте форточки», — звучит рефреном сквозная тема книги. Потому что поэзия в ее первозданной природе — это всегда струя свежего воздуха. Природа языка первична, и она — основа для бесконечного созидания, продуцирования новых реальностей:

Пока листвою тянет прелой,
покоится передо мной
кораблик видимости белой
и берег зелени пушной.

<…>

Пока он длится без усилья
и видит проблеском клавир
сырой реки — реки, и крылья
себя влепечивают в мир.

Вопреки идее Козлова о том, что собственно лирический герой Гандельсману не важен («понадобится герой — подставим любого»), кажется, что в «Велимировой книге» ситуация обратная: лирический герой говорит сразу двумя голосами, которые сливаются в монолог, хотя в первом разделе в большей степени звучит голос Хлебникова, а во втором — самого автора.

Известный поэт-футурист начала XX века — своеобразная ширма, под прикрытием которой автор позиционирует самого себя — присущий ему изначально стиль, поэтический образ, отношение к языку и слову. «Велимирова книга» отличается от всех прочих тем, что является самопрезентацией (голос Гандельсмана слышен уже в названии). Велимир — Владимир — созвучие, намекающее на абсолютное тождество. Причем слово «звук» здесь ключевое. В примечаниях к первому разделу Гандельсман полемизирует с исследователями, называющими поэтические эксперименты

Хлебникова «изобразительной низостью» и насилием над словом. В связи с этим кажется, что вся книга в целом — развенчание мифа об искусственности и нежизнеспособности языка Хлебникова и в какой-то мере авторское самооправдание. Хотя нет! Не самооправдание, а, скорее, самоутверждение. Мы имеем дело с оригинальным двуплановым мифотворчеством, в контекст которого вписана жизнь двух родственных друг другу поэтов. Оба они говорят на птичьем языке. Гандельсман, как и его предшественник, — звукописец. Только в звуке его голос обретает подлинную опору, в том числе и смысловую. Звук — это и есть смысл. Очищенный от ненужных примесей и стремящийся к своему первоистоку. Звук — это воздух, свежая струя смысла, отпущенного на свободу.

Упоение жизнью, по Гандельсману, — это упоение звуком. И это, пожалуй, единственное пространство, в котором рефлексия по поводу конечности идиллического бытия, о которой пишет в своей статье-послесловии Козлов, не возникает, либо, возникая, не перерастает в элегическую грусть:

…Буддой будущего пробужден,
говорю: эту воду живую воспей,
солнца к ней лучом пригвожден.
Продерись сквозь чертополох,
выйди в ясную явь,
в ее небесный, а не бесовый гул,
а чтоб храму ни на одну из четырех
не хромать, ставь
дарцоки, спаси хурул.

После таких строк уже не возникает никакого сомнения в том, что звук — это пространство. Он обладает такой чертой, как протяженность. Соположением гласных и согласных, длящихся повторами, стремлением к аллитерации и ассонансу Гандельсман создает уникальное поле стиха, где речь уже не речь, а река: текущая, живая, неуловимая и ускользающая. «Буддой будущего пробужден», «ее небесный, а не бесовый гул» — эти «бу-бу-бу» и «бе-бе-бе», растворенные в строке, переводят поэзию в плоскость чего-то нерукотворного, природного и непроизвольного. Внутренняя

форма звучащей речи изымается из внешней обертки, чтобы стать эфирным веществом поэзии.

Не то ли и у Хлебникова? Его причудливые эксперименты со словом — из той же области языкового естества. Вспомнить хотя бы знаменитое «Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй — пелся облик…».

Только для непосвященного эти строки могут показаться бессмыслицей. А ведь смысл здесь колоссальный — и это энергия освобожденного воздуха, вновь обретенного пространства. Извлечь из слова его первородную музыкальную природу, ту самую внутреннюю красоту, которая в японской традиции обозначается словом «югэн», — разве не в этом главное предназначение поэта? Вспомним финал этого «парадоксального стихотворения»: «Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо». Процесс рождения жизни из слова, жизни звучащей и поющей, оживление мертвой материи — то, чем занимается творец, прошедший стадию ученичества и преображенный в гуру, шамана, носителя высшей истины.

Но сокровенное знание недоступно простому смертному — отсюда бесконечные нападки и упреки рядового читателя в невозможности понять, присвоить себе извлеченное из текста знание. Кажется, Гандельсман, как и его предшественник, всегда воспринимал поэзию как нечто не имеющее никакого отношения ни к сюжету, ни к форме, ни к рифме, ни даже к герою. Все эти искусственные «привязки» отлетают сами собой, чтобы не нарушить магию словесного обряда. Остается чистое изумление и погружение в мир звукосмыслов. Подобное практикуется и в футуризме. Кто знает о «Мафарке-футуристе» — «романе-взрыве» и «романе-скандале» Филиппо Маринетти, — сможет воспринять идею «живописи звуков, шумов и запахов». От фразы в ее традиционном понимании ничего не остается — есть только музыкальная партитура в ее бесконечных вариациях, жизнь в оркестровом переложении.

Оркестр — ключевое слово для Гандельсмана. И в нем явно «солируют» гласные звуки. Владимир Козлов тоже отмечает эту склонность к ассонансам — но это даже не склонность, а «вочеловечивание» звуков. Звук персонифицируется, становится героем

книги. «Безрассудному звуку предаться» хочет автор «Рождения новой жизни в свитках». Здесь и «Свиток воды», и «Свиток моментальных слов», и «Свиток-оратория», и даже «Ии-свиток». Этот «Ии», вызывающий ряд ассоциаций, в том числе и библейских, кажется всемогущим богом или мистическим дирижером, управляющим словесным хором книги. Будучи воплощенной звукописью, Ии представляется тем самым заводным ключом, который приводит в движение сложно устроенную музыкальную шкатулку Гандельсмана:

Иди сюда, Ии,
нам нравятся твои
истории мои,
Ии благоусерден,
простой, как воробьи,
и нежногорл Ии!

Очищенные от примесей, освобожденные от давления согласных, гласные начинают «петь» — и расходящиеся кругами по воде образы, смыслы и ассоциации проникают в глубину читательского сознания. Если долго читать Гандельсмана, начинает кружиться голова. В этот мир, плавкий и ковкий, замкнутый в себе и встроенный во вселенский оркестр, погружаешься как в омут. Художественная ткань стиха такова, что не остается места для паузы — настолько длинным, непрерывным является поэтическое дыхание. Постичь эту поэзию — все равно что научиться дышать под водой.

Автор «Велимировых песен» не только преемник Хлебникова — он преемник всей мировой литературы. О чем свидетельствуют и многочисленные интертекстуальные вкрапления: отсылки к Маяковскому («и одним плевком звезду погашу»), к Данте («я в лес забрел, где чудилося мне то зинь, то фью, то сип, то цири-цири…»), и далее — к страницам Священной истории, к древнерусской летописи, к язычеству и античности.

Гандельсман сам — воплощение мировой культуры, ее неотъемлемая и значимая часть. «Велимирова книга» живительна, поскольку вся она — бесконечная элегия воздуха, пространства

и звука:

И хор взлетел на крыльях партитур:
сто остроглазых птиц. Одна — слепая.
За ней тянулся, прозревая, хор,
и не истаивала в поднебесье стая.
Как всякий зрячий, боль свою тая
и волю, от которой ближним больно,
вслед за слепой хотел прозреть и я,
и потому прикрыл глаза безвольно.

Опубликовано в журнале Интерпоэзия, номер 4, 2023.

Елена САФРОНОВА

ВРЕМЯ НАОБОРОТ

Название новой книги стихов Галины Нерпиной как минимум двузначно. А если вдуматься, оно таит и больше смыслов. Книга «Остролист»[1] — это 53 стихотворения, как недавно написанные автором, так и перекочевавшие из предыдущих книг.

Самое прямое толкование названия связано со словарным определением остролиста — декоративного кустарника семейства падубовых. Поэтическое значение имеет то, что кустарник этот вечнозеленый и настолько нарядный, что во многих странах его ветви и плоды становятся украшением для дома к Рождеству. Из остролиста сооружают рождественские букеты и венки, столь проникновенно воспетые, скажем, английской классической литературой в стихах и в прозе. Есть соблазн предположить, что Нерпина пошла по тому же пути — будет говорить о природе, о ее чудесах и красотах и о том, как эти дары использует человек, какой символизм, возвышенный, религиозный, любовно-сердечный или трагический, в них закладывает и какое пленительное впечатление рождается в итоге. И Нерпина не обманывает первых ожиданий. Она, действительно, пишет о природе: о смене сезонов (диптих «Времена года»), о лете («Июль», «Август»), постепенном умирании-засыпании природы («Осеннее») и зиме («...и снег долгожданный», «Метель, метель...»). В ее зимних картинах значительное место занимают новогодние и рождественские праздники — и то, что наступает после них, как в стихотворении, посвященном старшей подруге, прекрасной поэтессе Татьяне Кузовлевой:

Когда новогодняя елка
последнюю снимет серьгу —

[1] Галина Нерпина. Остролист. — М.: Воймега, 2022.

и тонко чернеют иголки
на хрупко-крахмальном снегу,
и утром как будто приснится,
что свет расширяется вдаль, —
зима начинает двоиться
и перетекает в февраль.

Приметы времен года служат постоянным фоном действия, которое разыгрывается в стихах Нерпиной почти всегда, даже если текст кажется чистым «размышлизмом». Образцом того, как тонко поэт переходит от пейзажной лирики к философской, может служить стихотворение без названия:

Весь в бабочках, мигающий пейзаж
так радостен, как будто перед взлетом.
Так много солнца в доме этим летом —
что дом уже как будто и не наш…
(…)
У нас сегодня счастья — пруд пруди.
Безоблачная летняя суббота.
И лишь одна не сделана работа:
забыть все то, что будет впереди.

Для «пасторального» прочтения книги есть и чисто стилистические резоны. Ведь Галина Нерпина — поэт классического склада, может быть, даже демонстративно классического. Она требовательно следит за формой стиха, за гармонией формы и содержания, за лексикой (ничего «сниженного», разговорного, даже иронического) и стилистикой — высоким слогом, восходящим к поэтическому языку пушкинской эпохи. «Родство» с Золотым веком Нерпина подчеркивает всеми способами. Так, в «венец» ее нового сборника вплетены стихи с заглавиями «Гоголь» («Нет, не идут слова-поводыри, / а, как интриги, медленно плетутся; / не светятся — сочатся изнутри. / И озаряют голову безумца»), «Пушкин» («Но как только петел старый, / встрепенувшись, прокричит, / этот путник запоздалый / к нам в окошко постучит. / Все, что сбудется вначале, / он нам смолоду сулил»). В иных стихотво-

рениях Нерпина использует мигом узнаваемые центоны: «Летит расхристанная птица / и машет — вся я не умру! — / морозной пылью серебрится / и рассыпается к утру». Кстати, использование природных символов для обозначения человеческих чувств или социальных проблем — одна из достойнейших традиций русской классической поэзии, а мы уже выше говорили о том, какое развитие оная традиция находит в творчестве Нерпиной. Наконец, в стихах автора встречаются и эпиграфы из поэзии благодатного XIX столетия: «Розы расцветают… *В. А. Жуковский*».

Однако смысл стихотворения Нерпиной диаметрально противоположен собственному эпиграфу («Песне» Жуковского). Напомню, там автор по весне радуется: «Все с зимой ненастной / Грустное пройдет; / Сердце будет ясно; / Розою прекрасной / Счастье расцветет», — а в качестве перспективы видит «лучший край» иной жизни «в долине рая», тоже сравнимой с цветущей розой. Нерпина отвечает Василию Андреевичу строками, лишенными какого-либо оптимизма и веры в неземную лучшую жизнь. Ее текст не столько о человеческом бытии, сколько о поэзии:

А человек — пространство нежилое:
он просто нижет временно слова.
Вот он стоит с заточкою в руке —
и словом равнодушно точит слово.
И ничего не замечает снова…
И розы расцветают
вдалеке.

Именно поэтому стоит не гнаться за поспешными выводами, сколь бы логично они ни выглядели. Обратимся ко второму значению заглавия книги «Остролист». Это подспудное значение интуитивно угадывается сразу: «остролист» звучит травматично, режуще. На что намекает такое истолкование? На острый край белого листа бумаги? На лезвийную бескомпромиссность поэзии? На ее жестокость и опасность для каждого творца — чему явственно посвящено стихотворение с эпиграфом из Жуковского?..

Развивая образный ряд данного «зловещего» контекста, мы не сможем пройти мимо того факта, что алые «лакированные» ягоды

остролиста имеют цвет свежей крови. И даже в рождественском убранстве дома они несут трагический символизм, напоминая: Тот, кто родился в этот день, прольет свою кровь во имя спасения рода человеческого… Галина Нерпина в своих стихах издавна соединяет прекрасное и драматичное, находя оригинальную стилистику и концепции. На подобных оксюморонах, по моему мнению, и строится своеобразие ее поэтического языка.

Несколько лет назад я писала рецензию на книгу Нерпиной «Свет и тьма» (М.: Время, 2014). Процитирую собственный вывод из тогдашних рассуждений: «От умения поэтессы заглядывать "за грани" — как реального мира, так и привычных раскладов стихосложения (в которых бабочки олицетворяют безмятежность, а пчелки — изобилие), — и рождается у читателя понимание: оказывается, поэзия, при всей своей красоте — дело страшное! Точь-в-точь — самосожжение. Поэт прибегает к этому последнему средству, чтобы пробудить, лишить покоя окружающих. Ибо покой — это сон разума, а сон разума рождает чудовищ».

В качестве названия для рецензии была выбрана строка из стихотворения Нерпиной: «Кто летает против правил». Рада подчеркнуть, что два «программных» текста для моего отзыва, а может быть, и для сборника «Свет и тьма», — «Пчела» и «Кончил жук самосожженьем…» — вошли в новую книгу, насколько можно судить, без изменений и доработок. Эти стихи составляют дилогию о «самоубийстве» насекомых — и о той неожиданной для беспечного человека разумности, которая пронизывает мир и наделяет поступки букашек надрывным смыслом. Но тексты о пчеле и жуке и в первой книге шли не подряд, и сейчас стоят поодаль друг от друга. И к ним добавляется третий текст, выворачивающий наизнанку уже не поведение насекомых, а… кустарник, Божье творение, по определению бессловесное, недвижимое, неспособное ни на какие «поступки». Однако у Нерпиной кизил становится полноценным участником до боли серьезного действа:

Ты навеки когда-то меня поразил,
в спелых каплях сияющий куст.

Потому что Спаситель увидел тебя,

потому что я скоро умру.
Всем известно давно:
кто пророс из копья,
тот бесстрашно стоит на ветру.

Нерпина окликает известную античную легенду, согласно которой кизил «родился» из копья Ромула, основателя Рима: воитель очертил этим копьем границы своего будущего города, а потом с силой воткнул оружие в землю, и оно расцвело красными ягодами. Слово «кизил» тюркского происхождения и означает «красный». Но в этих стихах поэт соединяет копье Ромула с копьем, казнившим Спасителя, и это большая лирическая и даже мифологическая дерзость, придающая тексту особый пафос.

Надо также отметить, что жук и пчела из «старых» стихов — далеко не единственные представители племени насекомых, фигурирующие в книге «Остролист». Двое из них простились с жизнью, но насекомый народ неубиваем и по-прежнему населяет поэтическое пространство нашего автора:

Смотри, как тонко яблоко гниет —
подробно и разносторонне…
И что-то отвлеченное поёт,
когда его вращают на ладони:
про тень и свет
в летающем саду,
и про стрекоз, несбыточных и важных,
и про жуков, имеющих в виду
вернуться — чтоб
не огорчать домашних.

В этих двух четверостишиях отражаются и продолжаются все ключевые темы и образы книги «Свет и тень», словно бы свидетельствуя, что поэт не изменяет с годами своего художественного мировоззрения и не переделывает звучание собственного поэтического голоса. Эксперименты с формой, с содержанием, с изложением чаще всего свойственны неофитам. Нужны ли они Галине Нерпиной? Она — состоявшийся автор со своей узнаваемой ма-

нерой, достаточно универсальной, чтобы уместить в классическое русло практически все вечные темы русского стиха. Формулировка о жуке-камикадзе прозрачно относится и к самому автору. Нерпина — тот поэт, что «летает против правил», разрушая стереотипы, при всей своей верности классическому поэтическому канону. И это не вопреки, а благодаря: классика всегда ставила во главу угла наличие у стихотворца собственного взгляда на мир и индивидуального голоса. Каков же голос нашего автора? Думаю, Нерпина его обрисовала очень четко:

…с абсолютным слухом первой скрипки,
С блаженным мороком рассеянной улыбки
И точным временем наоборот.

Андрей ГРИЦМАН

ЛИРИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ

Тезисы о лирике

Кто и какими мерками может судить поэзию — эту самую субъективную форму искусства? Единственная мерка — библейская. После грехопадения в Райском саду художник, как представитель человеческого рода, интуитивно чувствует разницу между настоящим стихом, звучащим кристаллом, эхом души, и культурной поделкой, которая — ничто иное как подражание, в отличие от подлинного, уникального, пред-языкового явления.

Мой уклон — в более свободный, вернее речевой стих. Все дело в звуке, в интонации — что ложится на речь, то и верно. Поэзия — вербальное, речевое искусство. Искусство во вторую очередь, а в первую, — монолог души. Понятно, что профессионализм важен, но правила в поэзии весьма относительные. Поэзия — зыбучие пески, как говорила Нина Кассиан, крупный европейский поэт.

Поэзия над границами, но с остановками в тех местах, где судьба нашла свой дом. Творческий процесс, к сожалению или к счастью, процесс неуправляемый. Конечно, надо работать, думать и т.п., но хорошие стихи появляются сами, «не пишутся, случаются». Мы ведь не романы пишем. Задуман, составлен план и потом по главам — творческая работа, хотя я всегда говорил, что поэтический сборник должен быть «романом в стихах», отчетом о жизни души за какой-то период.

Недавно поэт Александр Переверзин поместил такой пост: «Существует три типа поэтов. Первые утверждают, что поэзия жива. Вторые говорят, что поэзия умерла, мы делаем новую. Третьи — что поэзия умерла, да и хрен с ней. Мне кажется самой верной именно

третья позиция. P. S. Смерть поэзии не лишает поэта возможности и права писать стихи». По-моему, поэзии абсолютно наплевать, что мы о ней думаем. Она существует вне нас. И находит своего медиума. И коль есть кто-то, который «Бог знает, что себе бормочет, ища пенсне или ключи», поэзия существует. А литературная ситуация, периоды, «тусовка», премии, конкурсы — это совсем другой разговор. Когда кажется, что все уже себя изжило, стерто и заквакано, появляется кто-то, кто говорит свежим голосом, всегда о том же самом и всегда заново. Сколько раз искусство хоронили…

Кроме того, важно отметить, что поэт никого (народ, страну, группу, ассоциацию) не представляет и никому ничем не обязан. Тогда, поэт говорит от себя и за себя, то есть — правду, желательно прямой, но поэтической речью. Опасность использования поэтического языка у мало одаренного и/или неопытного автора — это использование привычного поэтического реквизита. Когда автор этим заявляет — вот это поэзия! потому как использован знакомый набор слов, метафор, оборотов и т.п. Как говорил кто-то из хороших поэтов: неважно, о чем, важно как, но наиболее важно КТО говорит.

Пишешь для себя, а потом входишь в среду, в общину, в профессиональный круг и выставляешь как бы отчет души за прошедшее время. Выражение лица меняется, как будто публикуешь фотографии разного периода. Сборник не должен быть ни в коем случае просто собранием накиданных текстов, как многие делают, а книгой о своем периоде времени. И собратьям, которые понимают, что к чему, интересно и важно прочитать и узнать про интересного для них автора.

Поэзия — исповедь души, ее дневник, монолог. Она выбирает язык в зависимости от того каким воздухом дышит ее носитель, если только это чистый горный мандельшта-мовский воздух. Стихи лучше всего появляются естественно, спонтанно, как бы сами появившись в воздухе — прозрачный кристалл. Меня спрашивали: на каком языке мне снятся сны после сорока пяти лет в Америке. И я, в конце концов понял, что ни на каком, ни на русском, ни на английском. То есть язык есть, персонажи снов, включая самого меня, говорят на каком-то языке, как-то сообщаются, но не на известном мне языке. Это, видимо, и есть язык поэзии.

На тему невозможности перевода поэзии сказано многое: Фрост, Набоков, Уилсон и многие другие. Одно из наиболее известных выражений — в процессе перевода поэзия исчезает все больше и больше. Это и так и не так. Заметьте, что в этом выражении суть поэзии — и так и не так. Суть в поэзии ускользает. Правда — в интуитивной догадке. Порой поэт сам до конца не знает в процессе творчества, что имеется в виду в глубине, в третьем и четвертом слое произведения. Кафка (поэт, прежде всего!) не знал точно, что он пишет и куда это заведет. Мы и до сих пор не знаем. Кафка в дневниках записал: Есть черта, которую, если перейти, возврата нет. Цель (художника) достичь этой черты.

Так вот, переводы поэзии, конечно, нужны. Даже по ночным отсветам от какого-то неясного источника света мы можем разглядеть очертания чудесного чужого города или его развалин — от времени, или, скажем, после воздушного налета…

Я, в своей переводческой практике и в моем понимании перевода базируюсь на, извините за еретическое высказывание, концепции поэзии над языком, или до языка. То есть, любое стихотворение вначале возникает как интуитивное чувство поэта о слиянии эмоции-мысли в нем с «висящим в воздухе» звуком-кристаллом (стих — кристаллическая структура!) пра-стих, если угодно. В переводе важно уловить ритм поэта, его эмоцию, начальный толчок, попытаться понять суть эмоции, природу интенции.

Остальное — важное, но почти вторичное: очень хорошее знание языка, понимание структуры произведения, знание культурно-исторической идиомы. Последнее крайне важно, и непонимание этого часто приводит к печальным результатам как в современной практике перевода американской поэзии на русский в России, так и (если не больше!) в переводе русской поэзии на английский средними американскими поэтами.

В связи с этим хочу подчеркнуть, что по моему мнению, хорошо или адекватно стихи может переводить только хороший поэт! Точно также как и писать о стихах, за редкими исключениями (критики: Лидия Гинзбург, Юрий Тынянов, Сергей Аверинцев, правда, он сам писал стихи, горстка других), должен поэт. Поэт более или менее понимает «как это делается». Достаточно упомянуть лучшее, что написано о поэзии — поэтами: Иннокентий

Анненский, Осип Мандельштам, в нашу эпоху — Иосиф Бродский, Владимир Гандельсман.

Так вот, в переводе: вначале было «не слово»! а понимание эмоционального ритма поэта, мычание, «шум времени» уловленный поэтом. Потом анализ структуры текста, составление звуковой, ритмической, «рыбы» стихотворения, потом — подбор слов, выверка и подбор синонимов, «подгонка» рифм, если рифмованный стих и т.п. Проверка фактов, исторической ситуации, языковой и культурной идиомы определенного времени, когда поэт создал вещь.

Упрощенно говоря, жизнь — это дорога. Дорога, которую мы на самом деле не выбираем, но нередко думаем, что выбираем. Мол, присел на камень — где же это я, куда иду? А ты и не знаешь, куда идёшь. Дорога знает. То есть тот, кто предопределил твою дорогу. Но ты всё время сопротивляешься, думаешь, что выбираешь, в воспоминаниях и рефлексиях пытаешься вернуться: назад в детство, к потерянным возлюбленным, к ушедшим родителям и т.п. У меня была такая как бы шутка: «пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю, что: пошёл, принёс, оказалось не то». Но изредка оказывается, что случайно найденное — это и есть стихи.

Что касается высказывания великого Фридриха… Один из близких мне людей, женщина, как-то раз предупредила: осторожнее в стихах и в жизни, не заглядывай часто в бездну, — и процитировала Ницше. Вот оттуда и родилось это стихотворение. А как не заглядывать? Ведь поэт должен — «до полной гибели всерьёз».

Если в бездну смотреть достаточно долго,
бездна глядит обратно в глаза.
Пора собираться в дорогу, замолкнув,
выйти из дома, не глядя назад.

Путь этот долог и необозначен.
Дверь закрываешь последним ключом.
В овраг уплывают заборы и дачи.
Женщина вслед окликнет: зачем?!

Там за немым, замерзающим полем —
в необозначенный дальний уезд:
там жители сыты просыпанной солью,
там фосфором светится смешанный лес.

Все глуше я помню родные пенаты.
Все ближе граница ничейной земли.
Но если дошел, если был там когда-то:
там каска твоя, котелок и лопата
и сорванный знак, чтоб потом не нашли.

Есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Жизнь начинается с прогулки, с игры (желательно в футбол во дворе, на даче), с долгих прогулок по родному городу, по Сретенке, по Мещанским… Потом идёт накопление разного жизненного опыта, топлива, которое затем формируется в корпус стихов и накапливается в спецхране. Потом надо постоять «на лестнице колючей», покурить и подумать, собрать камни. Иногда выйдет кто-то, с кем можно поговорить, собеседник. «Читателя! Советчика! Врача!..

В моей жизни получается и то, и другое. Уединение необходимо, «прогулочное» состояние. Стихи, какими бы они грустными или даже трагическими ни были, — это всё же радость творчества, ни в коем случае не литературная *работа*. Работа важна при редактировании, подгонке, составлении подборок и книг. Сборник стихов — это не просто тексты, накиданные в сумку, а книга, роман в стихах, портрет автора. Книга, которую людям интересно читать, а не просто выпустить, презентовать и выпить на фуршете.

Я использую термин *«постакмеизм»* совершенно намеренно, показывая эстетическую и даже идеологическую связь творчества многих современных русскоязычных авторов с идеями акмеизма, и еще раньше, Чаадаева, — то есть, с «европоцентрическим» направлением (термин, который в наши дни звучит почти ругательно). Я об этом писал и раньше (см. эссе «Поэзия и культурный ОВИР», «Интерпоэзия», № 1, 2013). Идея в том, что русская словесность, в том числе (и в особенности) поэзия, является частью мировой культуры, мировой литературы, и развивается в контексте развития мировой культуры и литературы, если в искусстве во-

обще существует вектор развития. Древний как мир спор между западниками и славянофилами.

Творчество на родном языке в координатах иной культуры, в глоссолалии другого языка не может не накладывать отпечаток на интонацию, на слух и видение автора. Поэзия — явление, прежде всего, эндогенное, существующее внутри автора, как бы «исповедь», голос души, и уже потом представляет собой явление общественное, культурное и т.п. Но среда, в которой живет и автор и его лирический герой, среда, в которую помещен поэт, безусловно, играет важную роль.

Сейчас времена всемирной *«глобализации»*. Это относится и к литературе, и к поэзии и имеет прямое отношение к нашей концепции постакмеизма и принадлежности к мировой культуре. От этого никуда не уйдешь, и не нужно зарывать голову в родной песок, пропахший нефтью.

Что такое живые стихи? Об этом, как известно, написаны тома, но основное — это интуитивное ощущение голоса судьбы. Поэзия — это исповедь души, ее голос, выраженный на том или ином языке, наиболее органичном для говорящего. Я работаю с голоса, и основным мерилом того, как работает стих, является то, как он ложится на голос. В речи не должно быть фальши, заимствованного. Естественно, после звука, высказывания, «частного сообщения», которым и является стих, идет работа над словами, удаление «необязательных» слов и т.п. Поэтому я и настаиваю на некоторой речевой «расшатанности». На самом деле мне интересно как бы расшатывать жесткую структуру русской силлабо-тонической просодии свободной речью, модуляцией естественного, не «поэтического» голоса. Это не специальная погоня за небрежностью, но поиск некоторой свободы высказывания.

В связи с этим, я осторожно отношусь к верлибру на русском языке. Нередко под верлибром подразумевается некая размазанность, отсутствие структуры, что совершенно противоречит идее свободного стиха. Свободный стих — наиболее мощный эмоциональный выброс стиховой речи, и только тогда он работает, как удар, заставляет остановиться, прежде всего, почувствовать, по-

том задуматься, потом вернуться и вдруг увидеть, что это — стихотворение. Только необычное, свободное в лучшем смысле этого слова.

Медицина и поэзия для меня совершенно разные вещи. Я надеваю белый халат, операционную одежду или галстук — и это одна моя жизнь. Стихи — другая… Единственное сознательное пересечение: я иногда использую медицинские и не «поэтические» термины, напрямую связанные с моей специальностью. Особенно важны описания текстуры, фактуры материала (собственно, то, чем я занимаюсь ежедневно): шероховатые, глянцевитые, пузырчатые и так далее. Физические описания очень важны для моей поэзии. Одна из моих любимых поэтических строк: «Лист смородины груб и матерчат».

Что касается физиологии творчества, тут все зависит от периода. Стихи можно писать фрагментарно: на экране компьютера мерцают два-три русских или английских текста, а можно трудиться над ними весь рабочий день. Если речь идет о прозе или большом эссе, то принцип работы другой. Сначала я собираю материал, делаю наброски, и только потом пишу, как правило, в свободное время. И хотя я пишу разные тексты, считаю себя лирическим поэтом. Если удаляться в метафизику и философию, то в данной реинкарнации я занимаюсь медициной, а моя душа живет обособленно, и по какой-то причине она не очень-то счастливая. Свой жанр я называю *эсхатологической лирикой*. Как говорил замечательный поэт и мой друг Алексей Цветков: «Что бы и когда бы я ни писал, я всегда пишу о смерти». Он же: «Приходит смерть. И это не беда.» Конечно, искусство есть искусство, ты облекаешь произносимое в метафорическую форму. Но, пока не могу смириться с мыслью: однажды все исчезнет.

Со стихами я работаю только с голоса. Несколько раз прочитываю вслух, пытаюсь добиться свободного речевого потока. *Поэзия — вербальное искусство*, возникшее задолго до появления письменности. И я просто поддерживаю традицию. Стихотворение должно звучать так, будто это энергетическая выдача голосом.

Ритм зависит от модуляции голоса. Например, мое стихотворение: «Я читал Чехова у постели матери в больнице для престарелых. / Короткие рассказы. Поздний свет несмелый / сочился сквозь

окно — рама стояла на томике Куприна» имеет и ритм, и рифму, однако построено так, что у читателя создается впечатление, будто ему рассказывают энергетически заряженную нерифмованную историю. Мне вообще неоднократно замечали: «У тебя здесь сбивка, ритмический слом, неправильное количество слогов». Но это не важно. Главное, чтобы строфа ложилась на голос. Пауза — тоже поэтический прием. И умолчания очень важны. Они являются органической частью ритмической структуры стиха. Поэтому недосказанность, перебивки ритма, возвращения — вполне оправданны. Так, в моей поэме «Хамсин» (https://new.antho.net/wp/jj04-gritsman/) строфу тянет интонация. В принципе поэму можно завершить в любой момент, поставив рифму. Но строфа продолжается, потому что строчка за строчкой идет проговор, который и держит ритм то за счет образа, то за счет интонации. Однако не все поэты понимают важность умолчания.

Молодой поэт, обладающий потенциалом (и тем отличающийся от бездарности), часто объясняет уже сказанное. Допустим, он пишет: «я говорил об облаке, облако — это моя метафора, связанная с утраченной любовью» и так далее. Чем демонстрирует неверие в свои силы. Для поэзии важны темные места и чувство бездны, ощущаемые в тексте не из-за твоего неумения сказать, а из-за сознательной недоговоренности.

Поэт никому ничего не должен — это главное условие. Автор отвечает только сам за себя. Сложность или простота стихотворения зависят от того, какие цели ставит пишущий и получается ли их достичь. С моей точки зрения, нельзя писать для читателя и стараться ему угодить. Конечно, есть юмористическая поэзия, поп-культура со своими стихами, такие жанры неизбежно ориентируются на зрителя. Но это разговор, скорее всего, о поэтической беллетристике. Если мы говорим о поэзии, то писать нужно так, как ложится на речь и на слух. Например, когда я рассуждаю о сложных или страшных вещах, как художественный прием обязательно ввожу бытовые реалии — фактурные, понятные вещи. Я не люблю условных понятий — фиолетовые закаты или абстрактные ангелы. Символизм мне не близок. Думаю, язык нужно брать из той жизни, которую ты знаешь. Однако у поэзии есть несколько

слоев. Первый и очевидный, все должно быть написано грамотно и хорошо. То есть человек должен уметь писать. Автор внятно говорит о тревожащих его вещах. Женщина — о несчастной любви, смерти близких; мужчина — о конфликте с миром, или наоборот. Но важнее всего третий план, когда становится не совсем понятно, куда автор идет. И в таких стихах видно то, что я называю дыханием бездны. Как у Мандельштама в восьмистишиях: «И все растет вопрос: куда они, откуда, / И не ползет ли медленно по ним / Тот, о котором мы во сне кричим, / — Пространств несозданных Иуда». Осип Эмильевич сказал: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост: И до самой кости ранено / Все ущелье криком сокола — вот что мне надо». То есть странные, страшные, прорывные образы. А не узнаваемые и безопасные описания, которые нравятся читателям. Использовать подобное — верный признак графомании. К сожалению, на этом построены многие эмигрантские ностальгические стихи. Как будто нажимаешь кнопку: Россия, осина, береза, овраги, подернутые травкой, — все мило и предсказуемо.

Я сознательно раскачиваю прокрустово ложе русскоязычной просодии. Однако не ухожу в верлибр. Современная американская поэзия в основном — верлибр. Но дело ведь не в том, что лучше — силлаботоническая поэзия или верлибр. Дело — в таланте автора и в качестве. Поэтому в американской поэзии барахла ровно столько, сколько в замечательной русской силлаботонике. Но верлибры — отдельная область. Их существует несколько: грамматический, интонационный и т.д., и у каждого свой ритм. Вообще, я считаю, хороший верлибр написать энергетически сложнее, чем силлабо-тоническое стихотворение. Свои верлибры я записываю сразу, потому что должна быть очень сильная эмоция, полубезумный, энергетически заряженный речевой поток. Тогда получается по-настоящему пульсирующий текст.

Мир таинственен. Зона, как в «Сталкере» Тарковского, находится в шаге от нас. Всё может произойти и происходит в любой момент. И когда идут разговоры о конце света, я говорю: неужели не понятно, что он уже давно произошел? Мы живем по ту сторону. И хотя я люблю жизнь во всех ее проявлениях, это видно по

моим стихам, все страшное, грустное и темное для меня связано именно с этой тайной. Я осознаю — мир в каком-то смысле угрожающий. Кафка в своих дневниках об этом пишет. У него есть рассуждение о том, что существует граница, черта, которую нельзя перейти, и задача художника как можно ближе подойти к ней…

Вопрос остается открытым. Если ты перешел, то неизвестно, что будет дальше. Переход подобен смерти. Никто не знает, что это. Единственный способ познать смерть — прекратить свое существование. У меня была теория, связанная с иудейско-библейской концепцией. В Библии, в Исходе, повторяется несколько раз, что лицо Всевышнего нельзя узреть. Именно поэтому Он говорит Моисею: спрячься в расщелине скалы, и Я прикрою тебя Своей дланью, чтобы ты не мог видеть лица. И Моисей видит Его только со спины. Мне же кажется, что как раз в этом-то и заключается смысл смерти: только перейдя черту, можно увидеть лицо Бога.

В американской поэзии есть такое понятие, как felttimeofpoem — то есть время стиха. Час, что мы сидим в кафе, можно изобразить в трех словах, а можно написать про него так, что в тексте отразится весь наш разговор, затрагивающий десятилетия и столетия. В стихотворении главное — создать пространственное ощущение. Пространственное в смысле времени.

Время покажет, кто великий, а кто «просто знаменитый». Мы говорим о поэзии. О других областях искусства я судить не берусь. Почему, к примеру, Гандельсман, Цветков или Еременко — не великие? А может, великие? Эпоха рассудит. Когда-то, в годы его наибольшей славы, «королем поэтов» был избран Северянин, и произошло это в эпоху Блока, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама («Камень, 1913 г.), Соллогуба… Пауля Целана в конце его жизни обвиняли в плагиате — горькая история с наследием Ивана Голля. Я уж не говорю о том, что при жизни Эмили Дикинсон совсем не слыла великой, вообще была неизвестна. Это крайний случай, но все же. На мой взгляд, в современной поэзии, не только русской, кстати, но и американской, имеется довольно много отличных поэтов, создающих оригинальные стихотворения. При подобной постановке вопроса всегда ясно, на что намек. Взрывного явления, такого как Бродский, Маяковский, Ахматова или знаменитые «шестидесятники», сейчас нет. Кстати, кто-то из них

забронзовел, а кто-то «не совсем». Ну и что? «Не сравнивай, живущий несравним…»

Поэзия — крайне индивидуальная форма искусства. Как говорил А. П. Межиров: «Стихи — дело одиночное, волчье…» Поэт — один в поле воин. Конечно, можно продумывать и исследовать общие или характерные черты авторов одного поколения, знаки времени, моды и т.п. Это любопытно, но в конце, на краю, остается один поэт. Например, «военное поколение». Есть общая тематика, но у наиболее сильных — совсем иная поэзия. Сравните Слуцкого и Межирова, или, скажем, Левитанского (знаменитое — «Ну что с того, что я там был? «). Или «шестидесятники» — разные полюса поэзии Вознесенского, Окуджавы и Ахмадулиной. Другое дело, что они, конечно, отличались по интонации, приему, словарю даже от хороших советских, «совписовских» поэтов.

По поводу школ. Конечно, восприимчивых одаренных людей можно научить не делать очевидных ошибок, отсеять поэтическую шелуху, не использовать привычного реквизита. Однако это и без того приходит со временем. И, в отличие от балета, театра, музыкального исполнения, даже от художников, у поэта нет инструмента, которым надо учиться искусно пользоваться. Нет ничего, кроме монолога души в воздушном пространстве, языка и эмоции. Так что и поэтическая «школа» — понятие весьма относительное.

Произошла глобализация. Русский язык стал лингва франка. По всему миру живут люди, которые говорят и пишут по-русски. И русская литература велика потому, что является частью мировой культуры. Лев Толстой, Чехов, Гоголь, я уж не говорю о Набокове, — «домашние» авторы любого культурного человека, и неважно, где он живет. Их изучают во всех университетах. Они, как и Пруст, имеют мировое значение. И если мы вдруг заявим, что больше не позволим переводить наши великие романы на другие языки, это будет катастрофой. И я не понимаю, зачем бить себя в грудь и кричать, что хоть у нас и куча проблем, но все же мы великая нация и культура у нас самая великая. К тому же, чем быстрее русская словесность начнет осознавать себя частью мировой культуры, тем менее зацикленной на своих проблемах она будет. То есть, станет размышлять не только о «врожденных историче-

ских бедах России», в которых далеко не всегда виноваты внешние силы, а — о душе человека, трагедии жизни и смерти, отношениях человека и Бога. Особо это касается поэзии.

Мандельштам назвал свое знаменитое эссе «Слово и культура», таким образом как бы противопоставляя и в то же время поселяя эти понятия под одной крышей. Разговор о Мандельштаме имеет прямое отношение к теме, стоит вспомнить, что не случайно именно Мандельштам дал определение акмеизму как «тоске по мировой культуре».

«Постакмеизм» — явление, когда тоска по мировой культуре накатывает не извне, не издалека, а изнутри, из долины культуры, окруженной все еще яснеющими холмами с электронным заревом случайного мегаполиса на темнеющем горизонте. Если хотите — это следствие «виртуальной глобализации». Это путь к спасению для художника в межкультурном пространстве, как поиск общей основы, общих глубинных источников родной и иноязычной поэтических культур. Противоположностью является состояние «холодной войны» между культурами, сидение на «ничейной земле», между культурами — и постепенная потеря перспективы в тумане времени.

Что же является критерием настоящего, живого? Предсуществующий звук, уловленный автором. Уловленный только потому, что силовое, звуковое поле — перестук электрички, выкрики продавца хот-догов, пауза-тишина в уличном шуме — в воздухе, которым художник дышит, совпало на какой-то момент с внутренней готовностью автора для новой вещи. Дальше уже идет мастерская, удовольствие, устранение дребезжания, подгонка. Само поэтическое ожидание в лопухах буден — не удовольствие, а скорее, обреченность, и порой оно длительное и болезненное. Все определяется дарованием. В этом смысле ни на кого похожим быть нельзя. Весь вопрос в интонации, в своем дыхании. Своя интонация — самое важное. Внутренний тон.

«Поэт начинается там, где кончается человек. Судьба одного — идти своим «человеческим» путем; миссия другого — создавать несуществующее. Этим оправдывается ремесло поэта»[1].

---

[1] Хосе Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства.

Это можно истолковать и так: поэзия говорит своим, особым, в сущности, «надчеловеческим» языком. Жизнь в странной, метафорической сфере поэзии подразумевает некоторую отстраненность, отчуждение, и даже легкую ненормальность. Поэт — иностранец или нет, — который живет, а значит, и творит, в определенном культурном пространстве и времени, всегда, в какой-то степени, чужак, или, по крайней мере, сторонний наблюдатель. «Все поэты — жиды!», как однажды сказала Марина Цветаева, выросшая в самой гуще русской интеллектуальной элиты.

Для поэзии это существование как бы «над культурой» или «над языком» особенно актуально. Поэзия — это проявление «прямой речи» поэта, слабо связанной с принятыми культурными канонами и отражающей реальную жизнь, включающую перемещения и заселение новой культурной территории. Стихотворение и представляет собой прямую речь, личное сообщение. Обретение общего поэтического языка в новой, инокультурной среде открывает возможность творческого общения между художниками, судьба которых начиналась в разных географических, социальных и лингвистических мирах. Это общение и понимание возможны, потому что психофизиологически, например, американский поэт — тот же тип неустойчивого, переменчивого, тонко чувствующего характера, что и поэт русский, итальянский или, любой другой. Это определяется особой способностью чувствовать и слышать мир, и необязательно должно зависеть от того, какой язык является родным для данного поэта. Поэзия — процесс обособленный, происходящий непременно в результате эмоционального конфликта автора с окружающим миром, который и является катализатором создания этого «подслушанного» звучания. Стимул для создания поэтического текста — уже существующий звук (т.е., конденсация чувства-мысли), который «подслушан» поэтом.

Мартин Хейдеггер написал в 1954-м: «Человек ведет себя так, будто он — создатель и властелин языка, хотя на самом деле — именно язык владеет человеком. Когда это соотношение сил нарушено, человек оказывается во власти незнакомых, чуждых ему обстоятельств. И тогда язык становится средством самовыражения.» Поэзия — ни что иное, как искусство отображения чуждых, чужих обстоятельств. Слово «чужих» здесь не случайно. Оно отра-

жает положение поэта, который всегда «чужой дома», — особенно, если он иностранец.

Язык сам диктует, как должно создаваться стихотворение; вот почему количество слов в стихотворении, написанном на двух разных языках, отличается, — что вполне естественно, учитывая огромные различия между, скажем, русским и английским, или итальянским. Отсюда и разная длина одного и того же стихотворении, написанного на разных языках, или перевода и оригинала.

Писать стихи, особенно лирические, — вообще странное занятие, а уж тем более для человека старшего возраста, ну, скажем, старше двадцати-тридцати. Это как бы признак некоторой незрелости, несоответствия обстоятельствам, социальной неадекватности, неадаптированности к жизни. Прозаическое произведение, испещрённое мыслями, соображениями, выводами — это совершенно другая история. В прозе «умный человек» (желательно, во всяком случае) делится опытом своей художественной жизни с читателями, или, что чаще происходит в наше время, с литературными коллегами, собратьями по перу. В случае поэта — pater famiglia, седеющий, или лысеющий, жалуется по поводу общеизвестного и распространённого факта, что жизнь проходит мимо «звуча клаксонами и сверкая лаковыми крыльями», что время течёт и т.п. — всё это несколько смешно, не правда ли? Но на самом деле это — именно то, что составляет двигатель лирической поэзии: ностальгия по времени, личная ламентация, сказка об утраченном времени и т. д. Мы все помним слова Пушкина: «Поэзия должна быть глуповата».

О поэзии многие пишут, и под литературоведческим и культурологическим углом зрения поэзию раскладывают по полочкам или собирают по кирпичикам много образованных и умных авторов. Достаточно посмотреть на многочисленные предисловия к сборникам поэзии, рецензии в толстых журналах, литературоведческие книги и т. д. Вне сомнения, лучшие из этих критиков, культурологов и литературоведов формально часто образованнее и «умнее» поэта, существа обычно не очень собранного, не слишком сфокусированного, знающего о многом эмпирически, нахватом и по кускам, и живущего свою странную, не укладывающуюся

в понятные рамки жизнь. Но в том-то и дело, что это — разные компании. И на самом деле, когда литературоведы, культурологи и т. п. общаются с поэтами, оценивающими то или иное произведение эмпирически, «умные» специалисты и вершители литературных судеб нередко сами понимают, что при всём знании они не обладают той своеобразной и странной метафизической интуицией, интуитивным пониманием «что такое хорошо и что такое плохо» в стихах. Лирическая поэзия, скорее, сродни религиозному опыту. Таким образом, чувство стиха, понимание поэзии связано с изначальным, глубинным пониманием отличия между добром и злом. Поэтические яблоки хранятся в той же самой корзинке, что и яблоки из райского сада. Приведем примеры из американской поэзии. Например, Хелен Вендлер, знаменитый литературный критик, литературовед, специалист по поэзии из Гарвардского университета. Ее влияние огромно, она создаёт и разрушает репутации, «раздаёт» премии и навешивает ярлыки. В какой-то степени так была создана раздутая репутация поэта-лауреата Джори Грэм, на самом деле, поэтессы искусственной концептуальности, усложнённой сухой игрой языка. Альянс этих амириканскмх «официальных» функционеров не случаен: они оперируют в понятной подобным специалистам области научного рационального языка; то, что доступно анализу, а, на самом, деле технически воспроизводимо. С другой стороны, пример замечательного, яркого, тоже знаменитого, Харолда Блума, который подходит к трактовке поэзии именно с интуитивной, эмпирической, метафизической стороны. Один из последних замечательных результатов его работы — недавно выпущенный толстый том «Лучшие стихотворения американской поэзии».

Не случайно лучшими критиками поэзии считаются сами поэты: замечательный американский поэт, тоже «с акцентом», лауреат Пулитцеровской премии Чарльз Симик, писавший о многих значительных поэтах современной Америки его поколения; Сергей Гандлевский — о поэтах своего поколения и круга; Иосиф Бродский — о Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаме. Список можно продолжить.

Некоторые поэты-«иностранцы», которые пишут на языке новой культурной среды, продолжают писать и на родном языке. По-

рой, произведения на родном языке становятся записями в дневнике памяти, дневником детства, перекручиванием записи своего собственного голоса или видеоплёнки с давними стирающимися, чёрно-белыми образами. Ничего дурного в этом нет, и результат зависит только от того, кто говорит, от силы эмоционального импульса.

Стихотворение — это произведение на свободную тему. Прежде всего, стихи не имеет прямого отношения к культуре. Язык культуры вторичен, да простят мне это святотатство. Искусство существует прежде всего в художнике, и только вторично — в обществе и в культурном процессе. Не наоборот. В настоящем стихотворении звучит только собственная прямая речь поэта.

Иосиф Бродский как-то сказал в одном из своих американских эссе, что литература, прежде всего, — это перевод метафизической истины на любой доступный язык. Можно продолжить, что у поэта такой «перевод метафизической истины» на функциональный язык его сегодняшней среды обитания происходит на почти подсознательном уровне, вероятно, на уровне так называемой «универсальной грамматики» Наома Хомского. Бродский также однажды заметил, что писатель, находящийся вне родной культуры, (он употребил слово «exiled»), брошен в космическое пространство в капсуле, и этой капсулой является его родной язык. В этом случае сила притяжения направлена не к Земле, а в обратную сторону. Поэзия обладает определённым влечением к пустоте, таким образом — к бесконечности, как в том же эссе заметил Бродский.

Сам Иосиф Бродский, которого называли «poet of exile», был скорее поэтом отчуждённости, или непринадлежности, хотя он сам, скорее всего, с этим утверждением не согласился бы. Но я не имею в виду отстранение от традиций русской словесности, к которым он относился с религиозным трепетом, но скорее вектор его наследственно-акмеистического притяжения к мировой культуре. В какой-то степени художественная позиция Бродского сходна с позицией Сэмуэля Беккета и Пауля Целана, но есть и отличия. Целан, великий художник, был «перемещённым лицом», то есть поэтом в межкультурном пространстве в чистом виде. Для Целана магическим кристаллом был сконденсированный внутри него загадочный раствор глубинного, им самим созданного маргиналь-

ного языка — замороженный кристалл единицы дыхания, выдоха. Это само по себе является поэтической идеей или, по-другому, — это душа, растворённая в теле и проявляющая себя в акте дыхания. С другой стороны, для Бродского идея души более сходна с идеей Джона Донна: метафорическая созерцательная душа-идея, которая парит где-то над миром и выбирает, опять же по Бродскому, любое подходящее ей земное наречие для выражения своей сути. Иногда это — диббук («блуждающая душа», покинувшая тело, в еврейском мистицизме), или душа, попадающая в какой-нибудь бар или флиртующая «с какой-нибудь ненаглядной местных кровей под цветной гирляндой»[1].

В связи с этим вспомним строки из книги замечательного философа, лингвиста, культуролога Джорджа Штайнера «После Вавилона: Аспекты языка и перевода», которые относятся к другому великому «перемещённому лицу», Францу Кафке. Штайнер пишет: «Его [Кафки] принадлежность была раздвоена между чешским и немецким языками, его чувственный, культурно-эмоциональный комплекс (sensibility) периодами тянулся то к ивриту, то к идишу. В этой ситуации у Кафки развилось сильное ощущение давления от сложной затуманенности языка вообще. Творчество Кафки можно воспринимать, как «постоянную демонстрацию невозможности простого и искреннего человеческого общения». Я бы продолжил, что, по-видимому, подобная раздвоенность и делает необходимым использовании непрямого метафорического поэтического языка. Кафка прежде всего, и в основном, поэт по способу выражения мысли, подходу к материалу и использованию метафоры. Только в его случае метафора, в основном, не традиционно-поэтическая, состоит не в традиционном сравнении в одной-двух-трёх строчках с обязательным «как», а в трении и напряжении самой ситуации. Обычно сама-то ситуация понятна, ясно что говорится, но за этим всегда чувствуется холодноватое дыхание потустороннего сравнения, то есть та же поэтическая метафора, только выраженная другими методами. В письме к Максу Броду в 1921 году Кафка писал: «Невозможность не писать, невозможность писать на немецком, невозможность писать по-дру-

[1] Иосиф Бродский, «Лидо».

гому. Можно почти добавить четвёртую невозможность: невозможность писать вообще». Другая известная интересная цитата из Кафки, которая, мне кажется, имеет прямое отношение к теме: «Откуда мне знать, что у меня общего с евреями, когда я даже не знаю, что у меня общего с самим собой?»

Каждый квант литературного произведения единичен и является уникальным актом художественного творчества. Снова вспомним Мандельштама: «Не сравнивай, живущий несравним». Каждый, так сказать, заново открывает для себя Америку, на свой собственный страх и риск. Каждая жизнь чревата своей собственной личной драмой. Разница между лирическим поэтом и другими человеческими существами заключается в том, что поэт ощущает эту драму, или, если хотите, трагедию, остро и непосредственно в течение всей своей творческой деятельности, а соответственно и жизни. Основное — это степень дарования и способность найти свою интонацию, свой особый голос. И здесь важно то, каким воздухом дышит автор, каких гор. Он может быть умён, может иметь свою особую, творческую линию и свои собственные мысли. Но если он дышит заимствованным воздухом, то выдох его будет состоять из воздуха, перегнанного из сосуда в сосуд. Этим тяжелым воздухом наполнены помещения многих поэтических чтений, семинаров, мастер-классов и т. д. Это характерно для мэйнстрима любой культуры. Оригинальная интонация и собственный голос — необходимые свойства и, возможно, наиболее яркие проявления поэтического таланта. Всему остальному можно научиться, постепенно заработать и удачно «инвестировать» в своей творческой карьере.

Елена ПОГОРЕЛАЯ

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» НАВЫВОРОТ

Романтический герой неромантической эпохи: «Иж Юпитер-3» А. Переверзина

Маленькая поэма А. Переверзина «Иж Юпитер-3», опубликованная в журнале «Знамя» (2025, № 3), стала событием в литературе задолго до публикации.

В сюжетной основе поэмы — реальный случай, приключившийся с трехлетним героем и его родителями в далеком 1977-м:

> В тот жаркий день, рассказывала мама,
> из Химок «Иж Юпитер-три» с коляской
> отец пригнал и весел был и счастлив:
> четыре передачи, два цилиндра,
> руль с зеркалом и фарой посредине,
> спидометр сто сорок. Он принес
> бутылку водки, разливного пива,
> позвал соседа Витю, брата Юру
> и в гаражи поехал — обмывать
> девятисотрублевую покупку…

Всего в стихотворении XIII строф-главок, и в каждой — своя часть истории.

II строфа — неожиданная болезнь ребенка: «Мне было три, я этого не помню. / В тот жаркий день, рассказывала мама, / я заболел. Озноб, температура: / сначала тридцать восемь, а под вечер — за сорок…»

III-я — обращение перепуганной матери к мужу за помощью: «…Она / окно открыла, — хорошо, что первый, — / и, как была, босая и в ночнушке, / на клумбу прыгнула и побежала / искать отца в ночные гаражи».

IV-я — ворвавшийся в хмельные песни отца сотоварищи выкрик «Саша умирает!», после чего «отец поставил на траву бутылку, / вскочил на мотоцикл и кикастартер / ногой ударил — рыкнул “Иж Юпитер” / и выкатился вмиг из гаража».

V-я — напутствия друзей; от легкомысленного «Не всё допили <…> когда вернешься?» до дальновидного «Шлем не забудь <…> гаишники стоят у горсовета».

VI-я — приход отца в «необжитую коммуналку» за ребенком и полет на мотоцикле в электрической ночи.

VII-я — продолжение полета между лесом и городом, между явью и сном, между — да, да, это тоже очевидно — жизнью и литературой:

> Мелькали вдоль обочины деревья,
> танцующие ветви зазывали
> в свои нетерпеливые объятья.
> Дрожали листья, и на повороте
> прозрачный путник в саване застыл.
> На горизонте осветилось небо,
> отец увидел ледяной корабль,
> затерянный среди огромных сосен,
> покрытый мхом, осыпанный цветами
> и светом озаренный изнутри.

VIII-я — едва не закончившаяся столкновением встреча с грузовиком («Под девяносто километров в час / мы к кораблю лучистому летели, / Но ЗИЛ-130 выскочил навстречу, / сигналя, дальним светом ослепляя…»), которая, по убеждению лирического героя, прошла благополучно только потому, что в это время оставшаяся дома мать «в слезах сидела над альбомом / с Мадонной и Младенцем Рафаэля…»

IX-я — приезд в больницу: «…я с рук отца свисал, он барабанил / ногой в глухие двери. Пациенты / включали свет в разбу-

женных палатах. / Пришла сестра, сказала “прекратите” / и всё без объяснений поняла…»

X-я — описание продолжавшегося восемь дней дождя — как бы локального Всемирного потопа, после чего воды сходят, и мать и отец возвращаются за поправившимся ребенком.

XI-я — трогательный диалог родителей с доктором:

> Отец сама серьезность был, а мама
> с коробочкой зефира в шоколаде,
> смущенно улыбаясь, у палаты
> благодарила доктора Хрипкова.
> А он сказал отцу: «Вы молодец,
> сообразили и не испугались.
> Еще бы полчаса… А посмотрите,
> как кубики он ловко собирает:
> на красный — красный, а на синий — синий.
> Он будет архитектором у вас».

XII-я — краткая и, разумеется, символическая биография уже выросшего спасенного Саши — биография, в которой внутренний трагизм мироощущения как такового (а как же иначе теперь — при таком-то анамнезе!) успешно прикрыт маской (само)иронии: «Жизнь пролетела, я к архитектуре / имею отношение такое: / когда в квартире вешали картину, / я показал, куда вкрутить шуруп. / Я книги издавал, набрел на лодку / на Цыпиной горе, под Тверью видел, / как время превращает в лес погосты…»

XIII-я — финальная, кольцующая сюжет и предвещающая воскрешение и молодых родителей, и лирического героя, и легендарного «Иж Юпитера», который, как ни крути, спас той ночью младенческую хрупкую жизнь:

> Я дважды смерть той ночью обманул,
> но третий не обманешь, и когда
> она вернется, я скажу «встречайте,
> отец и мама, скоро выезжаю».
> Я сяду на отцовский «Иж Юпитер»,
> и пусть шатурский байкер на запчасти

его купил в две тысячи четвертом,
он заведется и помчит меня,
в бескрайнюю долину, где река
и старый мост, и мама молодая.

С одной стороны, это классический новый эпос[1], характеризующийся четкой сюжетикой, ностальгическим обращением к детству и — необязательный, но частый элемент нового эпоса — установкой на «советскость» описываемых подробностей («это база»).

С другой — чистая суггестивная лирика, подразумевающая глубоко задействованную эмоциональную сферу, перетекающие друг в друга оттенки, сквозные, просвеченные символикой образы, плотную аллюзивную ткань.

С одной — частный эпизод биографии, восстановленный со слов действительного свидетеля — матери.

С другой — история, сросшаяся с классическим поэтическим мифом или по ходу дела перерастающая в него.

С одной — текст, отражающий переверзинскую лирическую индивидуальность.

С другой — произведение, встроенное в просодию традиционнее некуда, на чем настаивает использование пятистопного ямба, сходу запускающего броуновское движение реминисценций либо невероятной длины интертекстуальный ряд, в начале которого уже маячит пародийный флакончик Аристофана.

С этого самого ямба и стоит начать, потому что, выбирая подобный размер: самый повествовательный, самый традиционный в современной поэзии, — всякий «действующий» поэт отдает себе отчет в том, что он сознательно отказывается от любых формальных экспериментов и сосредотачивается только на смысле.

---

[1] Новый эпос — одно из характерных направлений в современной поэзии, отличающееся установкой на сюжетность (в жанровом отношении — балладность), повествовательность и — по словам Ф. Сваровского — «концентрацию смыслов не на реальной личности автора и его лирическом высказывании, а на некоем метафизическом и часто скрытом смысле происходящего, находящемся всегда за пределами текста». Тут нужно сказать, что несмотря на то, что Переверзин называет «Иж Юпитер-3» поэмой, по жанровым признакам он куда ближе к балладе, однако об этом — потом.

Пятистопный ямб — не о том, как рассказывается история, а о том, что рассказывается. Именно потому пятистопные ямбы были столь популярны в стихотворениях-воспоминаниях XX столетия: и А. Ахматовой («Северные элегии»), и В. Ходасевичу («Эпизод»), и И. Бродскому («Элегия»), и многим другим было что рассказать. Кроме того, уже начиная с прошлого (да и с позапрошлого, в общем-то, века) пятистопный ямб предполагает расширенную цитатность, способность улавливать долгое эхо чужих голосов.

Этим, в сущности, он и опасен для автора: сохранить собственный голос в подобном хоре и сделать его значительным и заметным не так-то просто.

Переверзин, разумеется, хорошо понимает эту опасность. Однако в случае его поэмы пятистопный ямб, как говорили пару лет назад, — не баг, а фича; каждая строфа из тринадцати пронизана лучевым пучком смыслов-ассоциаций, каждая из ассоциаций размыкает текст вдаль, вширь, вглубь. Если разворачивать этот ряд, комментируя просочившиеся в «Иж Юпитер-3» обращения к Пушкину, Тютчеву, Блоку, Ходасевичу, Ахматовой, Бродскому, можно будет написать целый свод комментариев, но я, пожалуй, остановлюсь лишь на нескольких интертекстуальных сюжетах — как очевидных («Я в детстве заболел…» А. Тарковского, «Любовь» И. Бродского), явленных чуть ли не прямыми цитатами, так и присутствующих в подтексте: «Из стихов о прошлом» Н. Берберовой и… «Лесной царь» И. Гете — В. Жуковского.

Зачем они, эти реминисценции, понадобились автору?

Куда, в какую сферу поэтики и понимания, благодаря Берберовой, Тарковскому, Бродскому, Гете, Жуковскому размыкается текст?

Вот в чем вопрос.

Зачем Берберова («Из стихов о прошлом»)?

Какой сухой и душный летний день!
Какая пыль над Петербургом висла!
Торцы меняли на Морской. Стоял
Ужасный грохот. Мать хотела сына,
Отец хотел не сына, нет, но дочь.

Был ранний час и в Дублине еще
Никто не просыпался в старом доме
И не скрипел пером в углу своем,
А в Вене собрались уже студенты
Галдя, сморкаясь, споря и куря;
И в доме у реки, в другой столице,
Лохматый, с выпученными глазами,
Смотрел весь день на формулу свою,
Готовя век к таким переворотам,
Которые не снились, друг Горацьо,
Ни наши, мудрецам, ни тем фантастам,
Которые…
Уж если семь часов
Кричать и выть от боли, то уж лучше
Пусть будет мальчик! День и ночь Морская
Кипящим дегтем пахла из котлов,
И этот запах я теперь люблю.

Я в мир вошла, мать разорвав на части,
Пока Моне писал свои соборы,
И Малер сочинял свою Шестую.
Я грызла грудь ее потом до крови,
Я не давала спать ей шесть недель
Немолчным криком в жарком Петербурге.

И плакала она тогда ночами
От слабости, от боли и от страха,
Что я не буду на нее похожа.
(И я могу сказать, что оказалась
Она права). Но веселился рядом
Отец, что вышло по его хотенью,
И говорил, что если я ору,
То откричусь заранее и плакать
Уже не буду больше никогда.
(Он в этом оказался тоже прав).

И оба правотой своей гордились
До самой смерти. До тех пор, когда
Все там же, в том же старом Петербурге
(Но в ледяном сорок втором году)
Они замерзли вместе черной ночью.

То, что Берберова в своих стихах апеллирует не к чему-нибудь, а к ахматовским «Северным элегиям» («Россия Достоевского. Луна…» и т.д.), очевидно. И там, и там суровая историческая подкладка прошита, пронизана внутренним пафосом; и там, и там происходящее с лирической героиней вырастает в универсальный сюжет fin-de-siècle; и там, и там индивидуальная человеческая судьба тесно переплетается с судьбой поэтической. Однако у Берберовой всё резче и жестче. Ее биография не подернута дымкой воспоминаний, как в «России Достоевского…», а, напротив, подсвечена прожектором цепкой памяти профессионального мемуариста.

То же у Переверзина. Возможно, Берберова в его тексте неочевидна, возможно, тут дело вовсе не в ней, а как раз-таки в семантической памяти метра и жанра — *баллада о детстве*, — но каждая деталь у него, будь то сам мотоцикл «Иж Юпитер-3», выпускавшийся Ижевским машиностроительным заводом с 1971-го по 1981 год (его «четыре передачи, два цилиндра, / руль с зеркалом и фарой посредине»), или таблетка аспирина и марлевый компресс, которыми мать пытается облегчить состояние заболевшего ребенка, или кубики — игрушки уже выздоровевшего Саши… Так вот, каждая деталь символична лишь во вторую очередь. В первую — это реальные приметы реального времени, с которым лирический герой вступает в реакцию и взаимодействие.

А вокруг него взаимодействуют мать и отец.

Вроде бы у Берберовой они также взаимодействуют, однако — как изначально рассогласованные элементы: «Мать хотела сына, / Отец хотел не сына, нет, но дочь». Это рассогласование в семье явным образом откликается будущему разладу, расколу эпохи. («Я в мир вошла, мать разорвав на части…» — из той же серии: в начале века были рождены дети, раздробившие прежний слаженный мир и обреченные жить в его раздробленности.) Пере-

верзин, подхватывая у Берберовой семейную, «родительскую», тему, меняет ее эмоциональный заряд. Мать и отец у него заодно; именно слаженность их действий позволяет спасти ребенка и навсегда остается в нем утверждением единства и цельности мира:

Наутро дождь, рассказывала мама,
заморосил: сначала еле-еле,
потом сильней и превратился в ливень,
который не кончался восемь дней.
А на девятый к городской больнице
подъехал «Иж Юпитер-три» с коляской.
Два человека в бело-красных шлемах
по лужам шли к приемному покою.
И первое мое воспоминанье —
два бело-красных шлема на столе.

Лейтмотив переверзинского текста — согласие, единство, негромкий, но явственный голос в поддержку традиционной (памятной многим, если повезло, то — по лишенному трудного опыта детству) советской семьи.

Лейтмотив берберовского — разлад, раздробленность, поляризация чувств. Мать плачет — отец смеется… Лирическая героиня гордится тем, что она — дитя противоречий, и ни словом, ни мыслью, ни делом не пытается сгладить этот разрыв, а как будто бы даже усугубляет его жесткостью к матери и признанием эмоциональной правоты отца с его злым весельем.

В сущности, единственное, что примиряет родителей у Берберовой, — смерть: «Они замерзли *вместе* черной ночью». В этом есть своя горькая правда эпохи: в XX столетии зачастую действительно только смерть («Белым был — красным стал: кровь обагрила. / Красным был — белым стал: смерть побелила…») сращивала распоротые эмоциональные, семейные, идеологические края.

Но у Переверзина в фокусе поэтического объектива — другая эпоха. Родители Саши объединяются, чтобы спасти и приветствовать жизнь. И если Берберова, начиная на ноте разъединения, так до конца и ведет ее — отец и мать «замерзли вместе», но вдали от дочери, и даже прощаясь с ними, лирическая героиня вновь обра-

щается к их разладу, — то Переверзин настроен на встречу, пусть даже и за пределами этого мира:

Я дважды смерть той ночью обманул,
но третий не обманешь, и когда
она вернется, я скажу «встречайте,
отец и мама, скоро выезжаю».
Я сяду на отцовский «Иж Юпитер»,
и пусть шатурский байкер на запчасти
его купил в две тысячи четвертом,
он заведется и помчит меня,
в бескрайнюю долину, где река
и старый мост, и мама молодая.

Тут, конечно, комментарий к «Иж Юпитеру-3» можно развернуть вспять, оттолкнувшись от самойловского «Папа молод. И мать молода…», но мы рассмотрим другие претексты.

Зачем Тарковский («Я в детстве заболел…»)?

Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдеру — и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А всё иду, а всё иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду — греюсь
На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит. Жарко
Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать

Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела… И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила —
И улетела…

Стихотворение Тарковского датировано 1977 годом — именно в этот год происходит действие переверзинского «Иж Юпитера-3», в котором присутствуют все ключевые мотивы Тарковского, так или иначе обыгранные:

— болезнь ребенка («Я в детстве заболел…» у Тарковского, «В тот жаркий день, рассказывала мама, / я заболел…» у Переверзина);

— стремительное — или, наоборот, замедленное, протяженное — движение сквозь эту болезнь («А всё иду, а всё иду, иду…» у Тарковского, «Под девяносто километров в час / мы к кораблю лучистому летели» у Переверзина);

— свет, брезжащий для обоих детей в забытьи («Тут затрубили трубы, свет по векам / ударил…» у Тарковского, «Но ЗИЛ-130 выскочил навстречу, / сигналя, дальним светом ослепляя…» у Переверзина);

— больница как междумирье, куда попадают лирические герои («…И теперь мне снится / под яблонями белая больница…» у Тарковского, «На горизонте осветилось небо. / Отец увидел ледяной корабль, / затерянный среди огромных сосен / и светом озаренный изнутри» у Переверзина);

— наконец, образ матери, передающей сыну ангельскую весть и либо исчезающей тенью («А мать пришла, рукою поманила — / И улетела…» у Тарковского), либо остающейся в памяти сына вечным символом прошлого с его устойчивостью и неизменной любовью («…в бескрайнюю долину, где река / и старый мост, и мама молодая»).

Переверзин, конечно, собственное поэтическое родство с Тарковским отчетливо осознает.

Оба они — наследники классической традиции, оберегающие ее просодию в новой эпохе: как Тарковский в 1940–1970-е «отвечал» за сохранение поэтики Серебряного века, так и Переверзин в 2000–2020-е бережет язык поэзии неосимволизма, «Московского времени», темной волны модернизма, почти растворившейся в автописьме нулевых.

Оба они ткут программные стихотворения о детстве из лейтмотивов, в общем определяющих их художественные миры.

У Тарковского это — лестница, свет, ударивший по глазам, образы матери и ребенка, мотив движения, пути… Всё это сопровождает его лирического героя от ранней «Криницы» (где действовали прохожий, мать и ребенок; в «Я в детстве заболел…» прохожий и ребенок оборачиваются одним лицом) — до стихотворений конца 1970-х («Влажной землей из окна потянуло…»), и всё это в любую минуту может растаять, как мираж: «А мать пришла, рукою поманила — и улетела…»

Так же и Переверзин, как будто бы просто *рассказывая историю*, в каждой строфе рассыпает сквозные для его собственной лирики образы, узнаваемые и дорогие читателю.

Вот, навскидку, — появившаяся в приемном покое сестра в IX строфе:

> Когда мы оказались у больницы,
> я с рук отца свисал, он барабанил
> ногой в глухие двери. Пациенты
> включали свет в разбуженных палатах.
> Пришла сестра, сказала «прекратите»
> и всё без объяснений поняла.
> Она несла меня по коридору,
> по долгому пустому коридору,
> отец смотрел ей вслед, ему казалось,
> она меня уносит навсегда.

Через много лет это «навсегда» покажется уже самому автору — вспомним стихотворение о медсестре-смерти, собирающей по больничным палатам свой урожай: «Я лежал на животе. / Медсестра вошла в палату, / и прижалась в темноте, / и запела хрипловато…»

А случайный «шатурский байкер», купивший легендарный Иж на запчасти в 2004-м, неизбежно вызывает в памяти заговорное: «а как выпьешь под шатурой / водки потный штоф / не ходи гулять на бурый / потемневший торф…» Да и центральный образ поэмы — образ отца, молодого, стремительного: «…отец / не слышал никого, он к дому гнал / и волосы под ветром развевались», «отец ворвался в душную квартиру <…> поднял меня, укутал в покрывало / и вынес в электрическую ночь…» — читается совершенно иначе, если вспомнить другие известные нам переверзинские стихи:

Отец, которого я помню,
мне показал каменоломню,
засохший дуб — жилище ос
и рощу, где шиповник рос.
Когда брели по грубой пашне
в ночи, ведомые Творцом,
темно мне было, но не страшно —
ведь я шел за руку с отцом.
Отец, которого я знаю,
вороньего страшится грая,
воды боится и огня,
бубнит: не трогайте меня.
И плачет и дрожит, покуда
не сядет смирно на кровать:
«В последний раз даю, паскуды,
отраву в горло мне пихать!»
Но тут же: «Уберите лапы!
В лицо не суйте пятерню …»
Тебя, мой самый лучший папа,
того и этого люблю.

Переверзин не боится подобных прямых признаний, что в современной поэзии редкость. В «Иж Юпитере-3» таких откровений, пожалуй, мы не найдем, но в коротких повествовательных строфах растворены нежность, и восхищение, и благодарность… Иными словами — всё, что усиливает и утверждает в личном пространстве лирического героя фигуру отца как Отца.

Возможно, во времени с этой фигурой приходится трудно (тут надо заметить, что тема отцовства — как собственного, так и в смысле преемственности и наследования — и для Тарковского, и для Переверзина очень важна, но обходятся они с ней по-разному), но в мифе и личной истории всё так, как и должно быть.

Отдельно можно сказать о VI строфе, в которой отец, собственно, и везет заболевшего сына в больницу:

> Ах, как он гнал! По яркой Пионерской,
> по уходящей в темноту Советской,
> по Третьего Интернационала —
> за Воймегу по новому мосту…

Здесь что ни строчка — то символ.

Как в «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилева, гремящем «по трем мостам» через Неву, через Нил и Сену — через реки, с которыми связано прошлое не только лирического героя, но и всей России 1910-х, — мотоцикл Переверзина-старшего едет по пионерской юности младшего, которую Александр, рожденный в 1974-м, еще смог застать; «по уходящей в темноту Советской» — это не требует расшифровки, хотя в конце 1970-х грядущая темнота еще не была очевидна… С Интернационалом тоже, в общем, всё ясно; а река Воймега здесь мерцает поэтическими смыслами — как символ издательской деятельности Переверзина и источник его поэзии.

Вот так, балансируя между личной и универсальной историей, Иж Юпитер-3 продолжает свой путь — между старым и новым мостом.

Зачем Бродский («Любовь»)?

> Я дважды пробуждался этой ночью
> и брел к окну, и фонари в окне,
> обрывок фразы, сказанной во сне,
> сводя на нет, подобно многоточью,
> не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

Затем, чтобы в стихотворении появилась любовь.

Бродский, чье стихотворение так и называется — «Любовь», у Переверзина проступает не в ореоле семантической памяти метра, а напрямую — цитатно: «Я дважды пробуждался этой ночью…» — «Я дважды смерть той ночью обманул…» Умышленно или нет, но в переверзинской поэме, буквально пронизанной любовью: родителей — к друг другу и к сыну и сына — к родителям, — слово «любил» произносится только однажды, в предпоследней строфе:

Я ту любил, которой не бывает,
читал стихи с поэтами в Смоленске,
из Сочи возвращался в черный день…

А дальше, в последней, XIII-й, — та самая фраза из Бродского, благодаря которой едва намеченная лирическая история разворачивается в возможную перспективу, прорастая мифологическими корнями. Цитируя Бродского, Переверзин как будто бы намекает, что эта история — была, что если не автор, то лирический герой сохранил способность перемещаться между мирами и любить то, что укрыто от человеческих глаз.

Если же пойти за стихотворением Бродского дальше, то можно наметить и тему ребенка лирического героя. Открыто в «Иж Юпитере-3» ее, разумеется, нет, но внимательные читатели Переверзина с образом «дочери Анны» знакомы («Чтобы ты не боялась грозы, / в дождь тебя мы к себе переносим…»), и неизбежная подсветка Бродского («И если мы произведем дитя, / то назовем Андреем или Анной…») позволяет нам проследить в тексте и эту дорожку.

Лирический герой однажды уедет на призрачном мотоцикле — «в бескрайнюю равнину, где река / и старый мост…», поэтому важно, чтобы кто-то остался здесь.

Собственно, так и называется одна из переверзинских книг, заземляющих метафизику и укореняющих лирического героя в реальности: «Вы находитесь здесь» (М., 2020).

Зачем «Лесной царь»?

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». —
«О нет, то белеет туман над водой».
«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит». —
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».
«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».
«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».
«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». —
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок подгоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.

А вот теперь — самое интересное.

Нетрудно заметить, что все используемые претексты Переверзин переворачивает, играя их смыслами и предлагая читателю историю и образ наоборот.

Вспомним: в стихотворении Берберовой речь шла о вечном разъединении, о тайном конфликте родителей, каждый из которых «гордится» своей прямотой; у Переверзина нет никакого разлада — родители действуют, и решают, и чувствуют сообща.

В стихотворении Тарковского главным действующим лицом была мать, не столько реальная, сколько чудящаяся в бреду заболевшему сыну; у Переверзина в центре внимания — отец, и он не исчезает из кадра, не довезя ребенка до спасительного «лучистого корабля».

В стихотворении Бродского главный сюжет — любовь лирического героя и его внутренняя связь с героиней; у Переверзина тема любви проходит намеком, почти что неназванная, и лишь реминисценция к Бродскому напоминает о том, что она в тексте есть и важна.

Но самое главное, что действительно вывернуто в «Иж Юпитере-3» Переверзина наизнанку, — это баллада Гете «Лесной царь», переведенная В. Жуковским в 1818 году, на взлете романтической поэзии и эпохи.

Баллада — один из ключевых жанров поэзии романтизма. Ее «скорость голая» (Н. Тихонов), ее неизбежное романтическое двоемирие как зависание на границе между явью и вымыслом, жизнью и смертью, ее внимание к герою-ребенку — тому, кто особенно остро воспринимает и ощущает это самое двоемирие… Все эти черты наличествуют в эталонном для романтической поэтики «Лесном царе» — и все они переходят в «ИЖ Юпитер-3», герой которого, впрочем, в отличие от героя Гете-Жуковского, не только оказывается способен обмануть смерть, но и примиряет внутри себя два изначально враждующих, конфликтующих мира.

Мир романтический — и мир реальный.

Заметим кстати, что «Лесной царь» написан не пятистопным ямбом, а амфибрахием, то есть здесь поэта интересует не память метра, а непосредственно сюжет.

Сюжет, который у Переверзина и выворачивается наизнанку.

В «Лесном царе» отец, мчащийся на коне через лес (через сакральное пространство, требующее от человека как минимум рефлексии — вспомним Данте, — а как максимум перерождения), не в силах спасти больного ребенка от смерти.

В «Иж Юпитере-3» дорога, как будто бы та же самая, наоборот, ведет в жизнь.

Однако и тот, и другой герой-ребенок в определенный момент «зависает» в пространстве между мирами, и жизнь их оказывается на волоске.

У Жуковского:

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей». —

«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне»…

У Переверзина:

Мелькали вдоль обочины деревья,
танцующие ветви зазывали
в свои нетерпеливые объятья.
Дрожали листья, и на повороте
прозрачный путник в саване застыл.
На горизонте осветилось небо,
отец увидел ледяной корабль,
затерянный среди огромных сосен,
покрытый мхом, осыпанный цветами
и светом озаренный изнутри…

Тут и олицетворенный, одушевленный сказочный лес, грозящий обернуться загробным миром, и больница — то ли спасительный Ноев ковчег, то ли эльфийский корабль, отправляющийся на обетованные острова (читай — тоже в загробный мир), и прозрачные тени, и зыбкая, стершаяся грань между явью и бредом…

Классический принцип романтического двоемирия реализован в обоих стихотворениях (при желании медсестру, уносящую ребенка «по темному коридору», можно принять за такую же дочь лесного царя: «При месяце будут играть и летать, / Играя, летая, тебя усыплять…»). Но важно другое: там, где у Жуковского романтический герой — детская душа — умирает, не успев вступить в реальный мир, унесенный «родимым хаосом», герой Переверзина выживает и уносит это романтическое двоемирие с собой.

Уносит — в другой, постсоветский, казалось бы, совершенно неромантический мир:

Я книги издавал, набрел на лодку
на Цыпиной горе, под Тверью видел,
как время превращает в лес погосты.
Я ту любил, которой не бывает,
с поэтами читал стихи в Смоленске,
из Сочи возвращался в черный день.

Встретившийся со смертью в раннем возрасте, спасенный реакцией матери и бесстрашием отца, герой Переверзина по сей день стоит на границе между мирами — и это позволяет ему обладать особенной остротой взгляда, одушевляющего мотоцикл (ведь чем становится Иж Юпитер-3 для лирического героя, как не верным конем, переносящим его из прошлого в будущее и из реальной жизни в загробную? Меняются формы, а мифы остаются всё теми же самыми…), прозревающего сакральное в бытовом и стирающего границы между жизнью и смертью.

Позволяет оставаться романтическим героем неромантического времени, напоминая о вечных претекстах, о вечных вопросах, о вечных мирах.

Евгений АБДУЛЛАЕВ

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

Шесть поэтических сборников 2025 года

И еще один год. И еще новая стопка книг на столе и желтая иконка «2025» на дисплее, с текстами книг.

«Стоит над миром год Змеи, все злобны, как удавы», как пел Щербаков.

Уже не стоит, прошел. Злоба, увы, осталась.

Поэзия, к счастью, тоже. Хотя видна она — и слышна — гораздо хуже. Почти не слышна.

«…Это огромное изменение для нашей Европы, прежде немыслимой без поэтов. Но если человеку больше не нужна поэзия, заметит ли он ее исчезновение? Конец — это не апокалипсический взрыв. Возможно, нет ничего более тихого и безмятежного, чем конец».

Милан Кундера говорил это сорок лет назад, в интервью 1986 года.

Востребованнее поэзия с тех пор вряд ли стала. Речь идет, конечно, не о массовой, не о песенной, не о рекламной — эта будет «нужна» всегда.

Вспоминаю поэтические чтения последних трех лет. В Москве, Красноярске, Нью-Йорке, Ташкенте, Новосибирске, Душанбе…

Выступали поэты известные, чьи имена — для тех, кто интересуется современной поэзией, — должны быть на слуху. Аудитория? Человек пятнадцать, плюс-минус.

Вот из недавнего письма, от поэта (очень хорошего), о поэтическом вечере в одном тульском музее.

«…Было семь человек, включая меня и работников музея. Я это воспринял как знак, что не нужно высовывать голову наружу — “наружа” живет своей жизнью, и пусть себе живет. Денис (орга-

низатор вечера — Е.А.) рассказал, что они приглашали из Питера одну поэтессу, дорогу ей оплатили — не пришло вообще ни одного человека. Поэтесса не растерялась, говорит: отлично, идемте гулять по ночной Туле, это такая фантастическая возможность, спасибо вам за нее…»

Только такие «фантастические» возможности для поэтов, похоже, сегодня и остались. И, возможно, это тоже неплохо.

Есть времена мощного выплеска поэтической энергии. Есть времена, когда требуется ее сохранение и сбережение.

В этом, собственно, и видится смысл выпуска сегодня поэтического сборника. Не «ознакомить», не «представить», и уж точно — не «порадовать». Просто сберечь. Сохранить энергию поэтического слова. Как запасают воду в засуху. Как берегут тепло в остывшем обесточенном городе.

Сборники продолжают выходить. И в поэтических сериях, и вне серий.

Довольно активно работают новые московские поэтические издательства: «Пироскаф» (кроме прочего, вышли «Умножить на десять» Дмитрия Тонконогова и «Не быть Фемке Бол» Лилии Газизовой), «Синяя гора» (отмечу «Сочинения» Феликса Чечика) и Neomenia (о ней будет сказано в самом обзоре).

В «Новой поэзии» вышли Герман Лукомников («Букволюбие. txt») и Виталий Пуханов («Прозрачные горы»).

Как и прежде, активно трудится «Стеклограф». Среди прочего — «Хлебные ангелы» Камилы Латыповой, «Тризна» Ростислава Ярцева и «Ангел беспредела» Александра Францева.

За пределами столицы несколько заметных сборников выпустили питерские Jaromír Hladík press (в том числе «Попытки говорить по-русски» Алексея Порвина) и «Пальмира — Поэзия», а также челябинское «Издательстве книжного магазина “Поэзия”» (включая «Петербургские кладбища» Игоря Бобырева и «Электрум» Даны Курской) и чебоксарская Free poetry. Продолжаются и «Действующие лица» ростовского журнала «Prosōdia», о чем скажу чуть ниже.

Много интересного — не перечислишь — вышло и в русско-поэтическом зарубежье. «Книга/Сефер» и «Издательство книжного магазина “Бабель”» (Израиль), «Literature Without Borders» (Лат-

вия), «Друкарський двір Олега Федорова» (Украина)…

Закон сохранения работает.

Издано за «змеиный» год много. Отобрал всего шесть книг. Светланы Михеевой, Виталия Леоненко, Алексея Пурина, Дмитрия Данилова, Амана Рахметова и Валерия Горюнова.

Как и в предыдущих обзорах, еще раз оговорю субъективный и характер этого отбора. Не претендующий ни на какую «рейтинговость». Список мог быть другим. В прежние годы пытался объединить отобранное каким-то принципом: местом жительства авторов, принадлежность к поэтическим поколениям… В этот раз я отказался, разнообразия ради, и от этого. Писалось так, как писалось; без подверстывания под «идею». Чем и готов поделиться.

Итак, начнем: «Хэом!..»

«Хэом! — делает колокол…»

Светлана Михеева. Тихие влюбленные. Ростов-на-Дону: Prosodia, 2025. — 72 с. (Серия «Действующие лица»).

Владимир Козлов как-то сказал: «Я издаю только те книги, которые нельзя не издать»[1]. Жаль, что книги в издаваемой им серии «Действующие лица» выходят нечасто: две-три в год.

В прошлом году вышла одна — «Тихие влюбленные» иркутской поэтессы Светланы Михеевой.

Одиннадцать лет назад в годовом «дружбинском» обзоре я писал о другом сборнике Михеевой, «Отблески на холме» («Дружба народов», 2015, № 3).

С этого времени стал суше, графичнее (не теряя своего лирического нерва) стиль. Больше безрифменных стихов. Если о книге Горюнова (о которой будет ниже) можно сказать, что это исследование языка, «Тихие влюбленные» — это медленное и осторожное исследование любви.

[1] https://prolitcult.ru/krugliy-stol-pereverzin

Тишина сквозь луч,
баюкающий пылинки,
просится на свободу — она влагает
в наши уста чужое произношенье.
Лица, неузнаваемые личинки,
требуют узнаванья
и совершенья.

Вдруг
начнут возвращаться навыки, языки,
волнами светлой накатывающей тоски —
полдень ровным телом завис над лесом,
трёт спросонья розовые виски,
падает в острые заросли облепих:

я ли это в твоих глазах?
ты ли это — в моих?

От привычного любовно-лирического вокабуляра здесь — только «светлая тоска» и отражение в глазах любимого (любимой); последнее, впрочем, звучит вопросительно и неуверенно. Остальное — описание невозможности прямого любовного высказывания; немоты, порожденной этой невозможностью, и природы, приходящий и, одновременно, не приходящей на помощь.

Как и в другом стихотворении, где любовь и природа (уже не полдень, а дождь) тоже плотно сопряжены: «Любовь — исследование поверхностей / может быть, в большей степени, чем / дождь зеленый, падающий наотмашь, / тут же гаснущий насовсем».

Это звучит, как спор с хрестоматийно пастернаковским: «Во всем мне хочется дойти…» В любви невозможно дойти «до самой сути»: она, как и сказано, «исследование поверхностей». Впрочем, поверхности любви обманчивы: под одними скрыты другие, и еще…

Хэом! — делает колокол:
он спрятан внутри воздуха,
он облицован твердью,

синей, как молоко
в тонких скрипучих ведрах.
Эууу! — делают вёдра,
раскачиваясь вдоль тела,
несущего их внутри.

<…>

Слышно, как бьется в вёдрах,
оставленных на веранде,
то ли вода,
то ли рыба,
то ли колокол воздуха.
Завтра выпущу в море.
Выключи верхний свет.

И верхний свет гаснет — чтобы зажечься свету поэзии, неяркому, но живому. С его ведрами, колоколами, рыбами и необычной, почти хлебниковской ономатопеей: Хэом! Эууу!

«…У скрещенья грунтовых дорог»

Виталий Леоненко. В тёмной листве. Стихи 2019–2021 гг. Пущино-на-Оке: [издательство не указано], 2025. — 188 с.

Виталий Леоненко. Посреди унесённого сада. Стихи 2022–2025 гг. Пущино-на-Оке: [издательство не указано], 2025. — 186 с.

Эти книги не вышли ни в какой книжной серии; не указано даже издательство. Как, впрочем, нет и выходных данных. Поэтический самиздат в чистом виде. Как это было в 90-е и еще в 2000-е; сейчас такие встретишь редко.

И, вместе с тем, книги итоговые; можно сказать, двухтомник. Я их и посчитал условно за одну книгу.

«Кто меня не знает, я немного расскажу о себе, чтобы было понятней, почему я пишу то, что пишу, и именно так пишу…», начал автор свое выступление на презентации в московском «Книжном

Клубе» (23 сентября 2025 г.).

Под псевдонимом «Виталий Леоненко» он, действительно, не слишком известен: одна публикация в «Зинзивере», пара — в «Плавучем мосте». Более известен он под другим своим псевдонимом, «Пётр Епифанов»: переводчик Симоны Вейль, Макиавелли, Кастильоне, автор двух книг прозы.

Человека, скрывающегося за двумя этими псевдонимами, зовут Сергей Дурасов. Родился в 1963 году в Красноярске. Окончил истфак МГУ. Двадцать с лишним лет был в старообрядческой церкви: чтецом, потом священником. Стихи вначале писал на церковнославянском. Уйдя в мир, стал писать на русском.

Духовная лирика? Да, и она. Но непривычная. Христианские сюжеты увидены как часть пейзажа, чаще всего, среднерусского.

На зеленой траве, у скрещенья грунтовых дорог,
коромысло воды — пара полных до края очей.
Да на бревнышке тихо беседу ведущий пророк
с деревенскою женщиной. А под мостками ручей

тих в своей глубине, убаюкав встревоженный сон.
Анемона цветки трепещут на склонах холмов.
Вяз блеснул наклоненным ребристым листом.
Дали будто парят. Но вещественно, плотно лилов

этой пашни просохшей в зелени врезанный клин.
И белеют цветки, и разносится пух с тополей.
Слышишь, слово журчит из потаенных глубин
на закате, на бревнышке, в травах у края полей.

Беседа Христа с Самарянкой показана как часть космическо-природной жизни. Сама беседа как бы отступает на второй и даже третий план — ею становится весь сотворенный Богом мир. И не важно, что евангельская Самарянка из горожанки превращается в «деревенскую женщину», а колодец Иакова, у которого происходила беседа, — в ручей.

Важна сама пейзажная, натурфилософская оптика.

Нечто близкое встречал лишь в ранних стихах Алексея Дьячко-

ва, «Первые апостолы» и «На берегу». Там тоже евангельские святые были «погружены» в пейзаж. Но у Дьячкова сквозь зарисовки природы всегда проступают приметы истории: и личной, и отечественной, российской (а в стихах последних лет — и тревожной современности).

У Леоненко это тоже присутствует — но где-то за кадром, в контексте. Глухим намеком, деталью. Как у Брейгеля в «Падении Икара». Или в пуссеновском «Пейзаже с вдовой Фокиона, собирающей его пепел» (фрагмент из последней воспроизведен на обложке «В темной листве»). Трагичное полностью растворено в светлом и мажорном звучании природы.

Кладка кирпичная перечно-пряна.
Синь. Самолета два светлых следа.
Переливаясь, как трубы органа,
пышет под кровлей сосулек гряда.

В кратком послесловии (в конце второго «тома») поэт и пишет об этом. Что стремится именно «именно “воспевать”» этот мир и его радость.

«Воспевать солнце, облака, синеву неба, моря и реки (прежде всего, Оку, на которой я вырос), деревья, цветы, животных и птиц. Любимую женщину, детей, любовь между мужчиной и женщиной, производящую в мир новых людей. Да, я считаю это изначальным, природным, сущностным делом поэзии».

И, читая двухтомник Леоненко, с этим невольно соглашаешься.

«...Само движенье, сам покой»

Алексей Пурин. Паруса: Стихи и эссе. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2025. — 688 с.

В отличие от Леоненко, Алексей Пурин в особом представлении не нуждается. Автор многих сборников поэзии и эссеистики, лауреат многих премий. Многолетний, с 1989 года, заведующий отделом поэзии в питерской «Звезде».

Книга вышла к семидесятилетию поэта, почти семьсот стра-

ниц; в каком-то смысле, избранное. Начиная с самого раннего (зачем-то дополненного позже пояснительным катреном), написанного в 1975 году, еще двадцатилетним поэтом:

Он видит с Монпарнаса
коросту рыжих крыш,
лиловую террасу
и розовый Париж.

Как неуместны эти
цветущие тона,
когда на белом свете
огромная война

и будущее ими
оплачено уже —
такими молодыми,
что холодно душе.

Здесь в зачатке весь будущий Алексей Пурин, все его основные темы — и «тоска по мировой культуре» (точнее, европейской), и столкновение культуры с варварством, и печаль о напрасно исчезающей, гибнущей молодости.

Игорь Шайтанов когда-то отнес Пурина к поэтам «с ощущением культурной традиции как ценности более высокого порядка, чем индивидуальное самовыражение» («Арион», 2000, № 4).

Стих Пурина культуронасыщен и культурозависим. Но все эти статуи и архитектурные (и литературные) памятники, которыми он так богат, — лишь одна сторона, один слой. Слой застывшей, стареющей и умирающей культуры, *танатоса*. Под которым — и сквозь который — шумит и брызжет слой *эроса*, вечно-юной плоти, варварства и либертинажа.

Все это и бушевало в ранних сборниках, «Архаике» и — даже с переизбытком — в «Апокрифах Феогнида». В нынешний, видимо, по соображениям внелитературного порядка, не вошло. (Но тут уже претензии не к поэту, а к новейшему фарисейству, воинствующему и вездесущему).

Столкновение этих двух слоев — плоти культуры и плоти человека — и составляет, пожалуй, главную тему поэзии Пурина. Человеческая плоть приобретает классическую статуарность, а статуи, фонтаны и монументы — эротическую живость и музыкальность[1].

Струя, взлетая, упадает
в ту чашу, что и так полна, —
и из нее перетекает,
не зная отдыха и сна,
в другую, нижнюю, сверкая, —
и третья ждет ее такой —
всё наполняющей до края:
само движенье, сам покой.

Но самый, наверное, излюбленный образ Пурина — Нарцисс.

В нем пересекаются и линия культуры, и линия плоти; и эрос (влечение к своему отражению), и танатос (смерть от невозможности расстаться с ним). В книге, кроме перевода «Нарцисса» Рильке» — целых три стихотворения «Нарцисс».

Как песчаное дно, трепетала грудь,
и упругие рыбы торили путь,
и твой облик сливался с любимым ликом,
и взаимным дол оглашался кликом…

А теперь над тобою вода чиста
отраженьем облака и куста,
вместо лика-облика — лоск и блики,
ибо те, что сжаты серпом, безлики.
Только тишь да гладь, не шумит камыш,
не шуршит в траве полевая мышь,
слезы смыты и вышел финал обидам —
и лежит весь мир ледяным Аидом.

---

[1] Даже Лев Оборин в своем не слишком комплементарном отклике на книгу отметил музыкальность поэзии Пурина. (Лев Оборин. Поэтический язык закаляется // Сайт «Горький», 14 января 2026 г.)

Мир, из которого уходит эрос, становится ледяным царством смерти. Но пока «к зеркалу влаги склонился Нарцисс» (как сказано в другом стихотворении, «Не здесь, не сегодня, а, скажем, тогда…»), надежда и тепло остаются.

Больше половины книги занимает литературная эссеистика. Вся выходившая в 90-е (потом Пурин почти перестал ею заниматься), яркая и стильная (сейчас, увы, так не пишут). И сегодня читаемая с интересом.

«А живем мы в величественную эпоху полного краха. В эпоху праха и крох, в эпоху внезапно образующихся расщелин и незаметных глазу лакун, заполненных призраками <…>. Нас обступает пора оговорок и опечаток, распада коммуникаций смысла — на фоне невообразимого прежде расцвета формально-коммуникативных средств. Всякая появляющаяся ценность <…> бесследно тонет в разлившемся информационном, но, по существу, как раз становящемся всё менее информативным океане знаков и литер…»

Из статьи «Архивисты и новаторы», 1994 год. А как будто сегодня писалось.

«Просто быть»

Дмитрий Данилов. Imagine. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025. — 160 с.

Если у Леоненко — поэзия на грани живописи, а у Пурина — на грани музыки, то у Данилова — на грани прозы. На грани повседневной речи, с ее заземленностью, и внутренней речи, с ее сбивчивостью.

И все же это поэзия. Даже без «все же».

У нее тоже своя традиция, идущая от американской стихопрозы прошлого века. Прежде всего, от Чарльза Буковски, чьи стихи в переводе Кирилла Медведева вышли в 2001 году[1]. Почти в то же время Медведев начал публиковать собственные стихи, написан-

[1] Чарльз Буковски. Блюющая дама. <Стихи, письма> / <Пер. и сост. К. Медведева>. М.: Adaptec/T-ough Press, 2001.

ные под влиянием Буковски. Пусть драйва американского первоисточника в них явно не хватало, новизна приема была оценена.

Стихи Данилова близки этой поэтической линии. Речь не столько влиянии, сколько об общем векторе поэтического движения. Создании не просто «прозы в столбик», а поиска зазоров и лакун между прозой и поэзией, где само их разграничение теряет смысл. С поэтизацией внешне неяркого и непримечательно. С обилием повторов и рефренов, создающих особый, вращательный ритм этих стихов.

В большинстве стихов Imagine нет сюжета. В них, по большому счету, вообще ничего не происходит. А если что-то и происходит, то не становится важным. Что же становится важным? Оговорки, ничего, по сути, не оговаривающие. Уточнения, ничего существенного не уточняющие; скорее, оставляющие знак вопроса.

Поэтическая мысль постоянно раскачивается между антиномиями, как маятник.

Два стихотворения даже заканчиваются таким сходным образом. «Это свойства, скорее / Человеческой глупости / Или нет» («Будущая ностальгия»). И: «Наверное / У американских поездов / У американских спящих поездов / Такие же сны / Как и у наших / Или нет» («Сны поездов»).

«Или нет» — самое важное.

Герой этой поэзии постоянно в чем-то сомневается и чего-то не знает. Как правильно говорить, «в аэропорте» или «в аэропорту». Как провести последний день в Ереване. Как пережить локдаун. Как вообще жить.

«Не знаю», «не знал» встречается в книге раз десять.

И не потому, что герой Данилова — растяпа и неудачник; хотя ощущение неудачничества — не в житейском, а в экзистенциальном смысле — присутствует. Но дело не в нем. Сама реальность устроена так, что что-то однозначное сказать о ней невозможно. Она зыбка, ненадежна и неопределенна.

Это поэзия скептицизма — в античном смысле этого слова. Скепсис не как нигилизм, а как плодотворное (хотя порой и мучительное) сомнение во всем. В себе самом. В мире. В прошлом, в будущем. Во многих вещах.

Но не во всех.

Герой Imagine не сомневается в существовании Бога. И ведет с ним напряженный диалог. И Бог не то чтобы разрешает сомнения (Он может у Данилова ответить: «А Я и Сам не знаю»), но придает смысл всей этой зыбкости и неопределенности. Самой жизни, самому бытию — перед лицом небытия.

Бытие, само по себе, уже ценно. Даже без сопутствующей ему деятельности, успешной или, чаще, не очень. Просто *быть*. Как в стихотворении «Гагарин и Бытие» (в чьем названии слышится скрытая контроверза «Чапаеву и Пустоте»).

Цитировать Данилова сложно — как почти всех поэтов, пишущих объемные верлибры. Здесь работает образная логика целого; сложно выбрать «показательный» фрагмент. Все же, процитирую — из «Гагарина и Бытия»:

Его главной
И единственной задачей
Было просто быть
Быть, существовать
Транспортировать Бытие
На околоземную орбиту
И как-то продержаться
Просто быть, быть
Ничего не делать
Просто быть
Вероятность продолжения Бытия
Была невелика
Говорят, процентов пятьдесят
Или меньше
Первый раз, всё-таки
Самый первый раз

Поэтому все, что причастно бытию, у Данилова согрето таким сочувствием. И чем более бесполезно, уныло, неудачно, тем этого сочувствия — и поэзии — больше.

Попсовые песни. Футбол. Электрички. Окраины.

Почти двадцать лет назад, в отклике на первый сборник Данилова, Ирина Роднянская писала о «той постоянной радости, кото-

рую испытывает автор, обнаруживая, что все вокруг, даже самое жалкое и унылое, наделено даром бытия» («Новый мир», 2007, № 6).

Скепсис и радость. И стихи, возникающие из их пересечения.

«Бог облаков»

Аман Рахметов. Человек засыпает и становится фотографией. Алма-Ата: ADAM fiction, 2025. — 96 с.

Аман Рахметов начинал с почти классической силлаботоники; родился и жил в Казахстане. Жил в Воронеже, учился в военном училище. Постепенно писал все свободнее и раскованнее. Дружил с воронежскими поэтами, Василием Нацентовым и Сергеем Рыбкиным, тогда еще тоже начинавшими. Вернулся в Казахстан; ушел из армии, все дальше отходил от силлаботоники.

Книга, разумеется, не об этом. Есть какие-то автобиографические отсылки. О военной школе. О детстве в ауле.

моя мама была хорошим стоматологом
хорошим потому что была единственным
стоматологом на весь аул
в котором мы жили
и мне трудно было представить
что стало с зубами моего аула после того
как мы переехали жить в город
помню как мы ехали в огромной груженной
мебелью и прочими вещами машине
а я все думал о зубах
своих соседей одноклассников учителей

Не припомню, когда стоматология становилась темой русской поэзии.

И все же книга не об этом.

Она — о постоянном поиске себя.

Поэтическое «я» автора постоянно ищет себя. В проступившем отражении в витринном стекле кафе. В музыке, звучащей из-под

кровати. В сдаче зачета по бегу на три километра. В произнесении слова «длинный». В любви.

Находит — и снова теряет.

Как Нарцисс, герой глядится в мир, как в зеркало; не ради самолюбования, но ради самопознания. «Зеркало», кстати, довольно частое слово в этой книге, повторяется девять раз; одно стихотворение так и названо, «Зеркало» (для сравнения — в книге Данилова это слово отсутствует вообще, только в одном месте упомянуто «зеркальце»)…

Но заглянув в зеркало, вглядываясь в него, герой Рахметова видит не себя. А, например, любимую женщину. Или стамбульские улицы. Или даже бога облаков.

мокрого времени
мокрая шерсть
сохнет под солнцем
становится грубой

бог облаков
просыпается в шесть
смотрит в зеркало
красит губы

То, что бог облаков красит губы, вряд ли удивляет: облака (еще одно частое у Рахметова слово) — метафора текучести и изменчивости, игры, перевоплощения… Даже когда герой видит в зеркале самого себя — видит он себя каким-то другим.

однажды за ужином она долго смеялась надо мной
почему ты смеешься, — спросил я
а ты посмотри в зеркало, — ответила она
тогда я встал из-за стола
подошел к зеркалу
и увидел
как время стекало с моего подбородка
я тут же протер его рукавом рубашки
и вернулся за стол

Борис Кутенков определил это, в отклике на книгу, как «род автофикшна», но с выходом «за пределы реальности, где стирается граница между явью и сном» («Интерпоэзмя», 2025, № 4).

Согласен. Хотя, думаю, это не столько выход за пределы реальности (границы «реальности» в поэзии задаются самой поэзией), сколько поиск нового взгляда. На себя, на близких и далеких людей, на мир.

«Протягиваю тебе камень...»

Валерий Горюнов. Заметки о взрослении земли. М.: Neomenia, 2025. — 42 с.

Созданная в конце 2024-го Владимиром Коркуновым серия «Neomenia» близка по стилистике к сериям «НЛО» и «Воздуха»; разве что, более «молодежна»[1]. Из авторов четырех книг, вышедших в Neomenia в прошлом году, только Валерия Горюнова (1994) можно отнести к тридцатилетним; остальные родились между 2000-м и 2000-м.

Поэтической темой Горюнова является язык. Звук, алфавит, шумы и звучания.

«У Горюнова есть доля наследия футуризма», отмечает в предисловии Александр Уланов. Эта «доля», думаю, наименее интересное у Горюнова — разве что для любителей графических кунштюков и филологических ребусов.

Интереснее, когда поэт начинает, по его же словам, «говорить на языке фактур», а не абстракций. «Касаюсь колоса: на ладони / сепия живого пепла». Или еще один яркий осязательный и одновременно «звуковой» образ: «под дождем / воздух тактилен / и голос звучит троисто».

Поэзия Горюнова не только *словесна* — она *древесна*; «дерево» — столь же любимый в ней образ, как у Рахметова — «зеркало».

---

[1] В какой-то мере она наследует «вавилоновской» серии «Библиотека молодой литературы» (1993–2004) и сменившему ее «Поколению» (2005—2022; в начале этого года Дмитрий Кузьмин, куратор этой серии, сообщил о ее перезапуске).

в лесу исчезает значение слова
и я больше не я
каждое имя каждый голос
качается в неравновесии

чутк|ость
чу|ткость
чут|кость

Жаль, что после этих строк начинается нудноватые филологические медитации: «лекция по лингвистической анатомии / чуткость — стрела / со звездой наконечником / что вонзается в сердце стрелявшего. / звездные лучи — придаточные корни...» И так далее. Из живого и чуткого леса языка мы попадаем даже не в бодлеровский «лес символов», а в поэтический сухостой.

Наиболее удачное стихотворение в сборнике, наверное, о потере и обретении языка.

новые люди потеряли язык,
и на какое-то время
вернулось вавилонское столпотворение
голосов, издающих
бессмысленные междометия.

письменность,
на которую возлагались надежды,
вызывала одышку и панические атаки.

слишком человеческое прекратилось.
повсюду пасмурный рыбий клёкот...

протягиваю тебе камень,
и ты понимаешь: прости меня.

базилико молчу,
и ты догадываешься,
что приготовить на ужин.

Молчание, жест — то, что остается для понимания в эпоху «пасмурного рыбьего клекота». Пусть даже жест протягивания камня, на первый взгляд, парадоксальный. Но там где ничто не означает ничего, где язык потерян, протянутый камень может означать просьбу о прощении.

Несколько избыточным выглядит «базилико»; без него лирический герой молчал бы лучше. Но, возможно, тогда угадать пожелания на ужин было бы сложнее.

Кроме сборника Горюнова, в Neomenia вышли «Хрусталики глаз звенят» Дарии Солдо, «Смиренные ласточки» Софьи Дубровской и «Мансарда с окнами на восток» Евгении Либерман.

Из сборника Дарии Солдо:

человек — пенка, снятая
с птичьего молока;

его имя пушинкой
летит
в холодные облака;

его сердце бумажное —
лотерейный счастливый билет:

как хорошо, что я есть —

как жаль, что меня

нет

Единственный, на мой взгляд, недостаток этой интересной серии — изобилие предисловий-послесловий. По два предисловия и по два послесловия в каждом сборнике. Зачем? Уже писал об это не раз; повторю еще раз.

Предисловие к книге современного поэта — эхо «совписовских» времен; до тридцатых годов прошлого века оно было редким исключением. Даже к дебютным сборникам. Не было предисловий/послесловий ни к «Руслану и Людмиле», ни к «Стихам о Прекрас-

ной Даме», ни к «Камню», ни к «Я!», ни к «Столбцам» (могу перечислять еще)... И ничего, как-то и без этого в истории русской поэзии остались.

Хорошо, на крайний случай можно пару кратких отзывов-блербов на обложку.

Стихи говорят сами за себя. Или *не* говорят; но тогда и дюжина предисловий и послесловий не спасет.

На этой, несколько ворчливой, ноте и завершаю.

И на собственном — авторском — сожалении.

Как всегда, жалею, что не получилось сказать о всех книгах, о которых первоначально планировал. О двух сборниках избранного, «Стихи» Андрея Грицмана (Кфар Саба: «Книга Сефер») и «Шестое чу» Андрея Коровина (М.: Русский ПЕН-центр). О новой книге Нади Делаланд «Фигуры и тропы» (М.: Делаландия). И еще о нескольких книгах.

Не срослось.

Постараюсь откликнуться на них — и на новые сборники — в иных форматах. Хотя бы для того, чтобы быть *еще одним* их пристальным и отчасти пристрастным читателем. Чтобы конец поэзии, если он ей и светит, не был слишком тих и безмятежен.

«Дружба народов», 2026, № 3

III

ПАМЯТЬ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

(1930–2017)

ЕЩЁ ОДИН ШАГ

* * *

Люби, пока не отозвали
меня. Люби меня, пока
по косточкам не разобрали
и не откомандировали,
как ангела, за облака.
Пока меня на вечной вилле
не прописали, и Господь
не повелел, чтоб раздвоили
меня на душу и на плоть.
Люби, пока земным созданьем
живу я здесь, недалеко,
пока не стал воспоминаньем,
любить которое легко…

ГОЛУБЬ ГОРОДСКОЙ

Между дышащей угаром
мостовою и толпой
по бордюру тротуара
ходит голубь городской.

Ходит голубь городской
тупо, словно заводной,
и глаза его стеклятся
деловитою тоской.
Он на крошки, на окурок
смотрит косо, как придурок,
он не видит и не слышит
ни колес, ни каблуков,
перегаром пыльным дышит,
существует, будь здоров.

Я, спешащий на автобус,
так на голубя гляжу,
как господь на этот глобус,
где, как голубь, я хожу
на краю планеты ломкой,
ах, по лезвию, по кромке,
по черте, по рубежу.

* * *

Вопреки снегам и суховеям
друг для друга мы не постареем,
ибо нам подсветкою навек
молодость — ланиты и ладони…
Постаренье видит посторонний
или разлюбивший человек.

* * *

бутылку с личным посланием
доверил я океану
кто-то… когда-нибудь…

утром глянул
в океане полно бутылок
никто… никогда…

* * *

Прожив солидный срок,
припомнил всё подробно,
и был правдив итог:
жизнь неправдоподобна.

* * *

В каждом деле надо ставить точку
У последней научись черты
славить завершающую строчку
ради беспощадной красоты.

* * *

Пространства и времени нет
для памяти.
Память — арена,
где вольно направленный свет
из тьмы вырывает мгновенно
любой по желанью сюжет.
Но старость — обратная смена,
Там детство, как купол вселенной,

свободной от боли и бед,
растёт и встаёт постепенно
над жизнью, над сценою лет.

* * *

— Не уходи, подожди,
подожди меня, не удаляйся

остановилась, ждёт, обернувшись ко мне,
в чистом поле под ласковым солнцем
Я иду
и по мере сближения
она становится всё моложе,
всё тоньше,
всё прозрачней
Ещё один шаг
А уже только поле
тропинка и солнце.

СЛОВО О СЛАВЕ

Моё лицо гуляло по эфиру,
Мои слова печатали станки.
Пожалуй, я небезразличен миру,
Он не сотрёт меня, как мел с доски.
Но старость спросит: — Что такое слава,
Когда такая ночью боль в кости?
Не говорю о даре костоправа,
Могла б хоть насморк слава извести!

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

(1933–2022)

ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ

Число нейтронов разрастается.
Процесс становится лавинным.

Подобно камнепаду с гор,
Где камень два других сшибает,
А эти двое — четырех,
И колотясь о скулы скал,
Вниз по известнякам белесым,
Четыре, делая обвал,
Уже влекут собою восемь
И падают на перевал,
В долину гор со страшным гулом,
И превращают вдруг привал
Уставших путников в могилу.

Ядро урана разрывается
И он кричит, от раны воя,
Когда нейтрон в него врезается,
Дробя нутро его урановое.
Существовать уже не чающий,
К убийствам новым будет мысль стремить;
Сам пулю в сердце получающий,
Он дважды успевает выстрелить.
И два другие будут корчиться,

Свои подбрасывая ввысь тела —
Им четырех убить захочется,
И каждый сделает два выстрела.
Ковбой убитый к кольту тянется
И смерть переиграть надеется,
И пуля мертвого достанется
Кишкам веселого индейца.
Любимая, другим унижена,
Обдаст меня смертельным холодом,
Чтоб на удар ей — Не убий, жена!
Кричал я черепом расколотым.
Душа, на части не делимая,
Воссоздается и сжигается…
Ответь же мне, моя любимая,
Легко ль тебе в меня стреляется
И левая не перекосится
Рука, поддерживая правую,
Чтоб у меня на переносице
Поставить точечку кровавую?
Не тем опасна мне, не тем она…
Что плачу я и смерти трушу,
А тем, что страх мой стаей демонов
Чужую раздирает душу…

Число нейтронов разрастается,
Процесс становится лавинным.

В сорок втором году
От роду семи лет
Стал я дичью,
Зайцем,
Загнанным

Маленьким зверем,
Мокрым от страха.
Сорок моих одноклассников

Изо дня в день
Поджидали меня
На дороге
Из школы домой,
Били и гнали потом
По спирали шоссе,
По открытой бетонке.
Громко дыша за спиной
И швыряя мне в голову камни.
Ладошку к затылку прижмешь —
Рука наполняется теплым…
Отчетливо помню,
Что однажды и сам я
Гнал по задворкам
Некрасивую девочку,
Острым ранца углом
Норовя угодить ей в лицо.
Зачем этот бред
Через многие годы настиг
И вернулся ко мне по спирали?
Зачем я других убивал,
Пускай бы меня убивали…

Степан убьет Петра, а Петр убьет Ивана,
Все от того, от рас-щепленного урана.
Тот самый первый залп, бессчетно умножаем,
Раздавшийся у Альп, гремит по Гималаям.
А где же тот живет, кто убивать не любит,

Удар схватив в живот,
в других стрелять не будет,
В цепи сломав звено, спасет меня от пули,
Прикрыв собою, но… Его уже распяли…

Суставы раздробя,
Гвоздями прокололи

Того, кто на Себя
Хотел взять наши боли.
Кривляясь и юля,
Пришли над Ним глумиться,
В лицо ему плюя,
Одевши в багряницу.
И Он стоит, гоним,
Под туч переполохом.
И молний куст над Ним
Цветет чертополохом.
Но в горние краи
Скорбящий взор уставя,
Он шепчет: Элои!
Зачем меня оставил?..

1980-е

Наталья АРИШИНА

(1943–2022)

ПРОСТОЕ ПИСЬМО

КАЛЕНДАРЬ

Поморщась совсем не от боли,
тебе говорю поутру:
пора убирать в антресоли
сезонную эту муру —
две пары уставших сандалий,
замызганный коврик и зонт,
как будто мы век не видали
ни воли, ни неба, ни понт.
Нахохлясь, сидит на карнизе,
почуя ненастье, сизарь,
а деверь хлопочет о визе.
Подводит его календарь.

СКОРО ОСЕНЬ

Скоро осень разрисует ржой лепные потолки,
на твоем оставит доме тень от памятной доски.
Это осень, это осень, — осмелев, свистит сквозняк, —

объявляю: завтра сносим этот дряхлый особняк.
Видишь, технику нагнали —

самосвал, бульдозер, кран.
А в твоем окне мигает затухающий экран.
Напряжение теряя, сбоку лампочка торчит.
Сердце слабое мерцает, боль привычная горчит.
На рассвете в мутном небе — грозовые облака.
Рядом плавают вороны, обалдевшие слегка.
Покидают переулок, улетают в никуда.
С потолка, гремя тазами, каплет ржавая вода.

ДУЭТ

Не храни ты ни бронзы, ни книг.
Константин Случевский

Лишь в баснях ценится мораль,
но не пишу я их покуда.
На антресолях спит хрусталь,
фраже, дареная посуда.
Подкатит мусорка к окну —
задребезжит стекло и пластик.
Проулок узкий свой кляну,
забытый, как прошедший праздник.

А было здесь светло в ночи,
в соседней лавочке пылились
на плошках синие мечи,
ретиво кабаре плодились.
В подвале сладился дуэт,

в котором оба очень милы,
поклонникам отбою нет,
без перерыва на обед
он тратит творческие силы…

Сквозняк с насмешкой просвистит,
свое являя постоянство,
и щедро пылью одарит
из заоконного пространства.
Неужто в прошлое уйдет
дуэт? — А как согласно пели!
Но даже эху не расчет
сегодня множить эти трели.

На антресолях — связки книг
и гостевая раскладушка.
Но навсегда ушел старик
и, торопясь, ушла старушка.

ТЕАТРИК

Давнего века загадки.
Дворик в осенней грязи.
Стены добротнейшей кладки,
окна в слепых жалюзи.
Голубь бесстрастно и ловко
меряет дряхлый карниз,
и заглушает ливневка
эхо былых антреприз.

Про театральные были,
про безрассудный размах
даже деревья забыли,
те, что росли на задах.
Клен позолоченной кроной
скрыл слуховое окно.
Но по ночам незаконно
изредка светит оно.

Дождик легко занавесил
призрачный строгий танцкласс.
Триста посадочных кресел
не дожидаются нас.
Из непроглядного мрака
звезды навстречу плывут.
Он не случаен, однако,
наш по соседству приют.

Близостью этой руины
дом тяготится жилой,
не различают машины
след от парковки былой.
Близко надвинулась туча
парусом, черным, как дым.
Дряхлым пенатам наскуча,
вместе мы прочь улетим.

МАТРОССКИЙ ПЕРЕУЛОК

Высоко на храмовой горе —
прежнее пристанище матросов,
лязг садовых ножниц на заре,
трепет лавров, шелест ломоносов.
Уведет на ржавый серпантин
до нуля обритая куртина,
словно был назначен карантин —
или стрижка после карантина.

Неподъемны цены на постой.
Втиснутый в подвальные каморки,
постоялец разный, непростой
даже не задергивает шторки.
Вечером, завидя поздний свет,

старой топонимикой влекомый,
в этот край отправился поэт,
никому из местных не знакомый.

Он устал, последний поворот
очень тяжело ему давался.
Бар пустел, лишь он, наоборот,
до утра за стойкою остался.
Нет матросов — и вопросов нет.
И нестроевой во мраке топот.
А ему мерещится корвет,
гауптвахты юношеский опыт.

ПРОСТОЕ ПИСЬМО

Сначала всё ждали осенней поры,
гадали, куда улетим.
Опала листва, опустели дворы.
А мэр объявил карантин.
В холодную ночь без единой звезды
по-беличьи тучки быстры.
Эфир одарил нагнетаньем беды,
а почта — письмом от сестры.

Простое письмо по старинке дошло,
с отклеенной маркой, вчера.
Не знаю, во все ли пределы мело,
мне виден лишь угол двора.

Чужой внедорожник под нашим окном
в сугроб превратился к утру.
Тобой недопитую стопку с вином,
вздохнув, со стола уберу.

Владимир СТРОЧКОВ

(1946–2023)

С ГРУСТЬЮ И ОТВРАЩЕНИЕМ

ПОСТНОВОГОДНЕЕ

Фальстаф:
Может честь излечить мне ногу? Нет.
Уильям Шекспир, Генрих IV

этот новый год заранее стар
и январь от рожденья уже февраль
и начнёшь рывок глядь опять фальстарт
две недели гнал нам пургу трусливый враль
и алкаш фальстаф

то ли дед мазай то вроде мороз
глушит белым как зайцев навзрыд веслом
в разливанном море креплёных лоз
уцелевшим в битве с собой считай свезло
пустяки цирроз

в дальнобойный рейд в отрыв уходя
без особой надежды на рождество
с воскресением без в голове вождя
на возврате под сердцем чуешь упёртый ствол
то ли зуб гвоздя

и пора бы знать хотя бы и честь
если меры не знаем уйдя в гульбу
только может ли честь если часом есть
излечить колено печень почки судьбу
что ещё бог весть

вот такие блин у нас тут дела
здравствуй дупа которая новый год
каждый год всё та же собой бела
и обширна как наша страна и её народ
и его зола

ПРО ВЕРУ, НАДЮ, ЛЮБУ И СОНЮ, ИХ МАТЬ

(caprichos)

1

Девочка Надя, чего тебе надо?
Ничего не надо, кроме шоколада,
слабенькой Надежде, что живет у почты,
кроме той Любови, виденной в беседке,
а не старой Веры, седенькой соседки,
и ни ее крови, и ни ее почвы.
Не исполнит Люба надина каприза —
Nada[1], словно люстра, свесится с карниза,
свесится, поникши головой садовой
возле той беседки, той Любви бедовой,
что не поделила с ней свои излишки,
что не разломила на две шоколадку.

Не узнает Надя, как бывает сладко.
Вот такие, Соня, тут у нас делишки.

---

[1] Nada — ничего *(исп.)*

2

Завернулась Вера в норов, как в ворот
заскорузлого, как Вера, тулупа,
встала вором у ворот, словно ворон,
озирается, нахохлившись, тупо.

Вышла Надя за околицу, в кольца
на бумажках жидкий волос бурдовый —
не идёт ли принц какой добровольцем,
хоть паршивенький, кривой или вдовый?

Села Люба на крыльце, пришеперясь,
круговую заняла оборону:
не идёт ли дура Надька под двери,
не следит ли в оба Верка, ворона.

Соня, мать их, глядь в окно спозаранку:
— Ну же дурищи, ну, сучки сестрички,
нет бы пО дому заняться, засранки,
под колёса бы всех трёх электричке!

С ГРУСТЬЮ И ОТВРАЩЕНИЕМ

По осиновой опушке
то зимой, то жарким летом

едет-бредит еле-еле
с пулей-дурой Сашкин-Пушкин,
Мишкин-Лермонтов с приветом
от мартышкиной дуэли.
Им уже обоим хватит
заморочек и морошки
той мочёной, что, отведав,

помирать не понарошку.
Им в арбе навстречу катит
по частям сосуд скудельный,
фрагментарный Грибоедов:
горе с ним, а ум отдельно.
Следом мёртвый Гоголь-Моголь
едет в чичиковой бричке
с пеплом мёртвых душ в обнимку…
Это мало ль? Это много ль?
Что за милая привычка
превращаться в невидимку
у писак? Вот Маяковский
с дыркой в жаркой головизне,
вот Есенин на верёвке…
Что за способ за таковский,
что за странная уловка
умирать ещё при жизни?
Что за странная манера
у мадам литературы
при посредстве пули-дуры,
ножичка или верёвки
самым лучшим кавалерам
отворачивать головки
или строить геморрои?
Что за сумрачные темы
у родной литературы?
Что за едкие туманы?
Что за странные поэмы?
Что за жуткие романы?
Что за дикие герои?
Гомо, миль пардон, эректус,
натянувши гомо леггинс,
ликом бледен, сердцем чёрен,
едет скрюченный в телеге
желчно-печенный Печорин,
мочекаменный гомункул,

жалкий гомо суперфлюус,
омерзительный на редкость;
с ним отвратнейший Онегин,
гомо люденс честных правил…
Поскреби по закоулкам,
тем, где тошно даже плюнуть:
что не Пётр, то, значит, Павел,
Верховенский ли, Корчагин,
но уж точно не Павленский;
гнус Каренин, трус Молчалин,
аццкий Чацкий, женский Ленский,
дура Ольга, стерва Анна,
чей конец весьма печален…
Мышкин, псих и эпилептик,
выньте руку из кармана!

Тут на всех один рецептик —
от библейского Онана
с верной подписью Иуды,
с круглой Каина печатью…

Лепо ль нам начать оттуда,
где нам некуда скончати?

Гомо Абилис, где брат твой,
мёртвый Авель?..

Всё отвратно.
Всё печально.
Всё ужасно.
Всё отменно.
Всё прекрасно.
Спите, граждане подвала!
Всё спокойно!
Всё пропало!

Примычания:

Homo Erectus — человек прямоходящий *(лат.)*
Homo Legens — человек читающий *(лат.)*
Гомо леггинс — мужские леггинсы *(неолог.)*
Homo Superfluus — человек лишний *(лат.)*
Homo Ludens — человек играющий *(лат.)*
Homo Habilis — человек умелый *(лат.)*

Бахыт КЕНЖЕЕВ

(1950–2024)

ПЛУТОНИЕВЫЕ ВРЕМЕНА

* * *

я разучился складывать слова
а было просто словно дважды два
зияла и светилась ноосфера
пока я пил и пел на языках
и ноты перекатывались как
те камешки во рту у демосфена

немногие читатели меня
давно и вы отвыкли от огня
страстей июльский дождь дорога к дому
где вымыт пол и не скрипит кровать
не так сложна наука выживать
как кажется заложнику седому

теперь я обыватель рядовой
с опухшей рожей лысой головой
прожорлив что известный робин-бобин
растерян легкомыслен скуповат
и вроде бы ни в чем не виноват
лишь к подлости и рабству неспособен

* * *

люди скромного таланта
проживают тоже скромно
грустно ходят на работу
и детей растят простецких
нет у них автомобиля
телефон у них китайский
вредный маленький начальник
и сердитая жена

люди среднего таланта
прозябают тоже средне
лишь в малаховке на даче
земляничное варенье
ни ковров у них туркменских
ни стеклов венецианских
никакого смысла жизни
ни коровы ни козы

а который если гений
в генеральском скажем чине
грандиозную зарплату
в негорючий сейф кладет
он летает бизнес-классом
отмечает отпуск в Сочи
у него ротвейлер грозный
и четырнадцать котов

* * *

Вечерний, сизокрылый, благословенный свет…
А. Тарковский

ах арсений свет осенний голубиной почты взмах
ой вы сени мои сени мебель новая в домах
где закат свинцом окован и за окнами как встарь
бродит с вервием пеньковым государев золотарь

ухмыляясь не случайно он в гороховом плаще
в балаклаве made in China легендарен вообще
встречных радует обычных
ест крольчатин и свинин
не язычник не опричник
просто добрый гражданин

но когда он за трудами не мешай ему не тронь
претворять живое пламя в очистительный огонь
было слово стало дело хладным телом на снегу
позвонки ломая смело обреченному врагу

* * *

«Чтобы майский сиреневый вечер
сиреною не завыл,
чтобы не видеть на детских пилотках литеру зет,
надо бежать, следует скрыться в глубокий тыл,
вырубить радиоточку, не приобретать газет.

Соотечественники, зуб вам даю, что зря
штудируете вы передовицы
«Православной зари»

и «Народного наблюдателя»,
зря заводите «Жизнь за царя»
на патефоне покойного прадеда». Говори,

простодушная муза, не верящая утюгам
и паяльникам, поначалу ветхий,
а там и новый завет
в полутьме перечитывающая по слогам.
Если в жизни и есть тайный смысл,
то в смерти обычно нет

Так и ваш покорный, в юности
бывший куда умней,
не жаловавший трофейного сала,
ворованных пляжей не
уважавший, рано смекнул,
что пора смотаться в царство
теней
и ему подфартило. Обжился в дивной стране.

Схоронил любимого друга в Бат-Яме,
граде русалок. Узнал, что такое плуг и соха.
Слышал в кубинском квартале близ Майами
хриплый утренний крик бойцового петуха.

* * *

полоний прячется за шторою
и рассуждает как матрос
что старость это рим которая
взамен турусов и колес
а князь окрестного поместья
семейной драмой удручен
несостоявшегося тестя
разит асфальтовым мечом

такая братцы летка-енка
дырявый газовый баллон
где подполковник литвиненко
был столь же подло умерщвлен
мир солонее и бездоннее от века мучится одним
лишь тень бродячего полония
плывет задумавшись над ним

* * *

если мир земной развалится
через пару скажем лет
бедным палица останется
а богатым арбалет
устаканится околица
и онегин молвит нет-с
у горячих вьется конница
а у дохлых кладенец

с боевой венчаясь славою
выйдет росский баатыр
созерцать поля кровавые
созывать на братский пир

реквизированной мебели не желая воровать
будет Троцкого и Бебеля для буржуек раздавать

добрый день антиутопия валаамова осла
не взрастет цветочков опия
на могилках без числа
да оглох не слышу эха я но не жалуюсь друзья
потому как трогать нехуя если родина моя

* * *

простоволосая пророчица
кричит юродствуя «ату»
ей тоже вечной жизни хочется
а не ухода в темноту

валяй красавица выхватывай
врага что карпа крокодил
избыток славы геростратовой
ночным витиям не вредил

ни в древности когда искусствами
и златом тешилась война
ни в нынешние захолустные
плутониевые времена

* * *

господу все равно черногорец ты или хорват
для того он и создавал нас еще не сойдя с креста
воздвигать колизей херсонес ангкор ват
и другие пленительные места

святотатствовали кряхтели замешивая бетон
разжигали чтобы согреться костры в ночи
издавали воспетый бардом бурлацкий стон
на горбу таская бесплодные кирпичи

никому мы не снимся больше и никому не лжём
оставляйте гавань сосновые корабли
пили жидкое пиво любили детей и жён
но подобно Марине Ц. исчезли с лица земли

и когда ты во сне хрипя пробужденья ждешь
не молись чтобы снова стало весело и светло
потому что жизнь это моль
октябрь затяжной дождь
а ферапонтово северное село

* * *

Давно уже не бог, не царь и не герой,
От судорог в ногах я пробуждаюсь рано
И открываю день нехитрою игрой,
Гоняя шарики цветные по экрану.

Купель иных забот, вселенная простых
страстей! Кто мается в окопах, кто — в оковах,
а я, блаженствуя, скукожился, притих,
вдыхая сладкий дым веселий подростковых.

Теперь мои друзья — русалка, леший, гном,
Да стопка крепкого. Машинку закрываю
И погружаюсь в сон, покуда за окном,
Смеясь, маячит ночь молочно-восковая.

Дмитрий СУХАРЕВ

(1930–2024)

СТИХИ О ДОМАШНЕМ МУЗИЦИРОВАНИИ

* * *

Музицируйте семейно!
Планомерно!
День за днём!
Подрастает наша смена —
Что посеем, то пожнём.
Ходит слух, что наши дети
Станут взрослыми людьми.
Люди мира на планете,
Музицируйте с детьми!

Бабки, пойте!
Для концерта
Важно — что?
Огонь души.
У концерта нет рецепта,
Все рецепты хороши:
Под гармонь и а капелла,
В стиле Глюка, в стиле блю,
Под Шульженко мама пела,
Я — старинные люблю…

Хороши и те и эти!
Но подумаем сперва,
Как бы сделать, чтобы дети
Знали главные слова,
Чтобы чувствовали шкурой
Песен праведных заряд.
И ещё — чтобы халтурой
Не испортить нам ребят.

От рождения до смерти
Ждёт их много разных вех,
Тем не менее, поверьте,
Меломания — не грех.
Пусть вовек не умирает
Простодушная триоль,
Коли музыка играет
Положительную роль.

Люди мира на планете!
Знаю, вам покоя нет,
Но — имейте на примете
Гармонический предмет!
Пойте громко, вдохновенно,
Хором и по одному!
Очень важно, чтобы смена
Понимала что к чему.

ДВОР

А ташкентский перрон принимал,
принимал, принимал эшелоны,
Погорельцы и беженцы падали в пыль от жары,
Растекались по улицам жалкие эти колонны,
Горемычная тьма набивалась в дома,
наводняла дворы.

И на нашем дворе получился старушек излишек,
Получился избыток старух, избежавших огня,
И старухи старались укрыться
под крыши домишек,
Ибо знали такое, что вряд ли дошло б до меня.

А серёдкой двора овладели, как водится, дети,
Заведя, как положено, тесный и замкнутый круг.
При стечении лиц, при вечернем
и утреннем свете
Мы, мальчишки, глядели на новых
печальных подруг.

И фактически, и фонетически, и хромосомно
Были разными мы. Но вращательный
некий момент
Формовал нас, как глину, и ангелы нашего сонма,
Просыхая под солнцем, всё больше
являли цемент.

Я умел по-узбекски.
Я купался в украинской мове.
И на идиш куплетик застрял, как осколок, во мне,
Пантюркизмы, и панславянизмы,
и все горлопанства, панове,
Не для нас, затвердевших до срока на дворе,
на великой войне.

Застарелую честь да хранит круговая порука!
Не тяните меня, доброхоты мои, алкаши, —
Я по-прежнему там, где, кружась
и держась друг за друга,
Люди нашего круга тихонько поют от души.

СПАСИБО ОТЦУ

Спасибо отцу, не погиб
На гибельной, страшной войне.
А мог бы погибнуть вполне.

Спасибо отцу, не пропал,
Лопаткой себя окопал,
Мозгами, где надо, раскинул,
Ногтями, что надо, наскрёб —
И выжил. Не сгибнул, не сгинул.
И каску надвинул на лоб.

И чести своей не предал,
И славы солдатской отведал,
И мне безотцовщины не дал,
Хлебнуть этой доли — не дал.

А что не досталось ему
Прямого
в окопчик
снаряда,
За это спасиба не надо,
За это спасибо — кому?

МГНОВЕНЬЕ

В телефильме «Семнадцать мгновений весны»
Промелькнуло мгновенье далёкой войны,
Припылённое давностью дня,
И я понял, что я этот день узнаю
И что именно я на экране стою,
И прожгло этой мыслью меня.

Хроникальные кадры, а фильм игровой,
Настоящие бомбы, и грохот, и вой,
Но, как некогда, снова, опять
Отодвинулась кровь, и умолкла война,
И упала на нас, на меня тишина,
Будто бомба, рванувшая вспять.

Там был я, и мой двор, и другие дворы,
Меньше года осталось до мирной поры,
А детали я мог позабыть.
Не в начале войны и не в самом конце —
Сколько нас на Садовом стояло кольце?
Миллион человек, может быть.

Сколько их мимо нас под конвоем прошло?
Я за давностью лет позабыл их число,
Да казалось — и нет им числа.
И не щурясь, не жмурясь, не хмуря бровей,
Мы смотрели на воинство падших кровей
Без особого вроде бы зла.

Мы стояли, никто головой не вертел,
И никто говорить ничего не хотел,
Мы смотрели — и только всего.
И у старых старух, у последней черты,
У предела безмолвья не дёргались рты,
И не крикнул никто ничего.

И старательно шли они — эта орда,
И как будто спешили куда-то туда,
Где хоть вдовы забьются в тоске!
Но застыла Москва молчаливой вдовой,
И застыли дома, как усталый конвой,
И мгновенье застыло в Москве.

Долго длилось мгновенье, и мы, пацаны,
В океане людском в океан тишины
Перелили до капли свою.
Будешь фильм пересматривать — лучше смотри:
Это мы, это Малая Дмитровка, 3,
Это я там в народе стою.

ЗАПАХ ДОМА, ЗАПАХ ДЫМА

Запах дома, запах дыма,
Горько-сладкий дым степной
Тонкой струйкой мимо, мимо —
Надо мною, надо мной.
Травки пыльной и невзрачной
Терпкий вкус и вздох коня,
Потный конь и дым кизячный —
Детский сон, оставь меня.

Знаю, все необратимо,
Все навек ушло от нас —
Травки вкус и запах дыма,
И мангал давно погас.

Я иной судьбы не чаю,
Я другого не хочу,
Но так часто различаю,
Напрягусь и различу —

Различу сквозь дым табачный
Этой женщины изящной
Эти волосы копной,
Угадаю дым кизячный,
Пыльной травки вкус степной.
Тонкий стебель, горький вкус.
Низкий вырез.
Нитка бус.

Все ушло, что было нашим,
Все навек ушло от нас.
И мангал давно погашен.
И мангал давно погас.

Вадим ЖУК

(1947–2025)

ТЫ ВЕРНЁШЬСЯ

* * *

Сбрасывали с Красного крыльца.
Тоже ведь задача для стрельца
Не такая лёгкая — шалишь —
На копье принять или бердыш
Тело дворянина либо дьяка,
Каждый, чай, по семь пудов, собака.
Да на самое крыльцо взволочь,
Да потом ногами истолочь
В прах сырой и алый, и багровый.
Этот кончен — на подходе новый.

А на красной площади Соборной,
Дух стоит отхожий и уборный.
По лодыжки чёрная кровища
И хватают за одежду нищие.

Но крыльцо стоит неколебимо,
В клочьях власти, в мутных пятнах дыма,
Вход в чертог, пойми какого, Рима.

СТИХИ С ОСТРОВА ПАФОС

Товарищ! Они не всесильны,
Со всей своей дикой ордой,
И с ложью своей семимильной,
И с нефтью своей золотой.

Мертвы их инициативы,
И взгляды тусклей и мрачней,
Из рук вырываются гривы
Их апоплексичных коней.

Их ходики, сейки, брегеты,
Кричат им о близости тьмы.
Их самое жаркое лето
Морозом обдаст Колымы.

В них вирус безумья упрочен,
В них ужас немыслимый скрыт.
За ними гоняется ночью
Сошедший с ума алфавит.

Любовь недоступна им вовсе,
Распроданы оптом друзья.
Не бойся, товарищ, не бойся,
Нельзя их бояться, нельзя.

* * *

Идёт в Москве большое утро
Средь бурых и кремлевских стен,
И сделался весь мир, как будто
Безмерный метрополитен.

Закрылись двери осторожно,
Как властный голос им велит.
И я по линиям подкожным
Потек во все края земли.

Опоры, переходы, тропы,
Сиянье рельсов, блеск огня,
Как бы подземные окопы
И в них вагонов солдатня.

Куда я, сирый, путь направлю
Средь сталактитов черноты,
Движеньем суетным отравлен,
Прибит отсутствием мечты?

На «Мариупольскую» страшно,
На «Лондонской» никто не ждёт.
Я бы поехал на «Вчерашнюю»,
Но поезд задом не идет.

Вокруг, как я, таких же, тыщи,
И нечто гнется и скрипит.
И счастия никто не ищет,
Но от несчастия бежит.

Столпившиеся на платформе,
Пред бездной стали на карниз.
А Зверь Багряный хочет корма
И тащит вниз.

В ЛЕТНЕМ САДУ

В Летнем саду есть фигура Сатурна.
Рядом кусты и газон, неприметная урна.
А за спиною культурная катит Нева.
Он ест детей. Дети — части скульптуры.
Воображаемой кровью залита трава.

Он поедает своих малолеток,
Явленных в свет из его же сатурновых клеток,
Значит, хранящих его же — отцовы — черты.
Если вглядеться, кровь капает с веток,
И несмываемым красным покрыты листы.

Это не то, чтоб античность такая.
Это сейчас — ненасытная, злая,
Собственных чад, обезумев, страна пожирает.
Цербер цепной и невидимый лает
В созданном ей рукотворном аду.
Век свой грядущий страна пожирает
В вечном и сказочном Летнем саду.

* * *

Как на левом стоит берегу светлоглазая рать
Как на правом стоит берегу светлоглазая рать
А костей по полям по оврагам
по разбитым домам не собрать
И дымят недожжённым окурком несытые танки
Посредине Днепра долетевшая птица плывёт

И болванкою бронзовой следом за нею плывёт
В вышиванке разодранной
царь Мавритании Пушкин

ЖЕНЩИНА

Ты говоришь мне — ядерная зима.
У меня всё закручено в банки, от пищевой моли.
Гречка, булгур, пшёнки тьмущая тьма.
Надо подумать об алкоголе.

Хорошо, что не выбросили книжки,
Наконец-то я прочту Бёме и Кьеркегора
Я связала тебе свитер, маленькому штанишки,
Где отступается солнце, там согревает ангора.

Под тяжким каменным льдом наших привычных рек,
Подплывая глянуть на мир через окошки трещин,
Сохранится рыба, говорящая как человек,
И она будет говорить умные вещи.

Время разогнётся, гибкое, словно лоза,
Запахнет ядерною весною.
Интернета не будет. Зато отдохнут глаза,
Чтобы видеть тебя, склонившегося надо мною.

* * *

Люди со спящим разумом,
Люди с отсутствующим разумом,
Люди с мятущимся разумом,
Между пяти огней.
Но люди со сломанным разумом,
Или сломавшимся разумом,
С переодевшимся разумом
Всех остальных страшней.

КРОВЬ

Задумчивый всадник под снежной горой
На папиной пачке «Казбека».
Я смалу усвоил, я знаю, что кровь
Должна быть внутри человека.

Задумчивый всадник, печальный абрек
Посланец паров никотина,
Печальной лошадки стремительный бег
По злому ребру серпантина.

И красный с горы низвергается снег,
И красного моря прибои,
Как будто бесстыдный решил человек
Всю землю окрасить собою.

АНАМНЕЗ

Нам на всё хватало, на все хватало,
На поехать в Крым.
На колечки желтого металла,
На раз в месяц напиться в дым.

Мы знали разницу между Эдмоном Дантесом
И Фаней Каплан.
Мы плевали на надои и привесы
И по чего-то выплавки план.

Наши дети подрастали
И тоже клали на и на.
В это время в Афганистане
Шла война.

К 70-ЛЕТИЮ

Не зову, не плачу, не жалею,
Не желаю зелена вина.
Это нам подарок к юбилею —
Вами разорённая страна.

Ей самой пока ещё масштабы
Своего разора не видны.
По платформам плачущие бабы,
Треснувшее зеркало войны.

Это наши жёны отражёны,
В чёрных стёклах с рамой золотой.
Это наши дети заражёны
Ненавистью, ложью, пустотой.

Кто вам юбилейный и шампанский,
Ваш бокал искрящийся нальёт?
Как по предсказаниям шаманским,
Наша жизнь безногая пойдёт?

Как пойдёт! Да будто я не знаю.
Будто я родился в первый раз.
И себя, как прежде проклинаю,
Потому что бесполезно — вас.

* * *

Ты вернёшься. А на старом замке новый код.
А по улице ходит тебе незнакомый народ.
Только прежняя вмятина на водосточной трубе,
от глыбы ледовой.
Твой от бабки доставшийся пыльный комод
Напиши на нём пальцем: «я знала,
что время придёт,
Мы увидимся снова».
Твои верные книги на полках
стыдятся чуть-чуть,
Потому что они пребывали в покое и холе.
Твоё зеркало видит поникшие плечи и грудь.
Врёт: да всё у тебя, как было у девочки в школе.
Ты вернулась. И синие чашки летят к тебе вскачь
Погляди — говорят — ничего не побилось!
И тахта задышала, где вволю любилось,
Фотография мамы слегка покосилась,
Вот и водка нашлась — сохранилась —
скажите на милость!
Жизнь, конечно, прошла. А чего б ты хотела?
Не плачь.

Евгений СОЛОНОВИЧ

(1933–2026)

РАЗВЕ ЕСТЬ ТАКИЕ КОШКИ?

* * *

Расщепленный ствол березы,
два безжизненных крыла —
вещий знак перед распутьем,
что-то общее с распятьем,
и во все колокола
колокольчики звонили,
и казалось, что за ними
эху не поспеть.

Акварельные размывы
набухали грузом туч,
молча плакальщицы ивы
продолжали светлый плач,
ноту скорбную тянули
провода издалека,
и в почетном карауле
тонкая рябина
кисти теребила красного платка.

ГАММА

Возле магазина «Ноты»
разговаривали ноты
До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.

— Вы куда? — спросила До,
получилось: — Вы кудо?

— Ми, — сказала нота Ми, —
любим песни петь с детьми.

— Так что мы, — сказала Ре, —
в школу, в гости к детворэ.

Нота Ля сказала: — Нет!
Прежде нужен лягопед!

— Да, сказала нота Фа, —
я согласна, ты прафа.

— Вот, — сказала нота Соль, —
Логопед уже присоль.

— Не фалсивь, — сказала Си, —
погоди, не голоси,
помолчи,
послушай Ля!

Ля запела: — Ля-ля-ля..

* * *

Вот и опять зарядили дожди,
хочешь — не хочешь, дома сиди,
досыта пялься на телеэкран,
от болтовни безответственной пьян.
Диву давайся: ну вот, ну и ну,
дети свое отыграли в войну,
взрослым властям завещая новацию —
так называемую «спецоперацию».

ПО ДОРОГЕ В СЕВАСТОПОЛЬ

По дороге
топал тополь,
тополь
топал
в Севастополь,
ну а рядом
топал
Сева,
тополь — справа,
Сева — слева.

— Где вы, Сева с тополем?
— Уже под Севастополем.

АЛЕША

Мне до Алеши далеко —
и говорит он грамотно,
и отличить слона легко
сумеет он от мамонта.

Пример внимательности он
всем показать умеет:
то потеряет телефон,
то снова ключ посеет,
то вместо чашки молоко
он наливает мимо…

Мне до Алеши далеко,
как от Москвы до Крыма.

В ЗООПАРКЕ

Сережа хвастал Тоне,
что в зоопарк ходил,
что льва кормил с ладони,
катался на питоне,
слона за хвост водил.
Еще сказал он Тоне,
что гладил в клетке рысь,
что пончики у пони
в субботу родились.

ПОДАРОК

Это, я понимаю, подарок —
настоящий набор инструментов!
Можно сделать хоккейную клюшку,
можно лодку, а можно ракету,
можно Шарику будку построить.

Все ребята завидуют Боре:
хороши инструменты в наборе —
молоток и рубанок и клещи
и другие полезные вещи.

РАЗВЕ ЕСТЬ ТАКИЕ КОШКИ?

Если кошечка не точит
коготки на страх врагам,
и мышей ловить не хочет,
и не ластится к ногам,
со стола не может прыгнуть
на приемник, на кровать,
не умеет спинку выгнуть,
рыбу в кухне своровать,
если спать не любит в кресле,
если молока не пьет
и не любит мяса,
если
не берет сметаны в рот,
если сладко не мурлычет,
хвостик свесив из окна:
«Мур-мур-мур», — что это значит?

Догадайся,
кто она?

Разве есть такие кошки?
Есть,
но только в виде брошки.

Татьяна КУЗОВЛЕВА

(1939–2026)

ПРАПАМЯТЬ

* * *

И зябли руки, и свежо дышалось,
В пустом саду печалилась сирень.
И нежность беспричинная, как жалость,
Пыталась удержать осенний день.

И в предзакатном воздухе не гасла
Высоких сосен вековая медь.
И жизнь была особенно прекрасна
Тем, что её не обрывает смерть.

* * *

Нас здесь никто не ждал,
Быть может, только птицы,
Являя в небесах бесстрашия пример.
Нам многое уже наверно не простится,
И каждый жизнь кроит на собственный манер.

И потому душа корить себя не в праве
За то, что так крута событий череда,
За то, что день и ночь лишь отраженье яви —
Той, без которой жизнь исчезнет без следа.

Как удержать всё то, что нам всего дороже,
Как голоса сберечь и не забыть слова…
Без Памяти прожить, увы, никто не может,
Поскольку каждый жив, пока она жива.

* * *

Я вспоминаю:
Киев.
И слышится в сердце:
«Мать городов русских» —
Эхо оживших веков,
Словно с Прапамятью я прохожу по соседству
Под перезвон несмолкаемых колоколов.

Дай твою руку.
Припомни, как в день этот дивный
В Киев входил ты, ещё не забыв про бои.
Это тебя ведь я — князя ли, простолюдина —
Так обнимала, что слабли колени мои.

…Через столетья,
Сокрытые дымною грустью,
В нынешний век,
К неумолчным его позывным
Я прохожу неизбывною Киевской Русью —
Давней Прародиной,
Первоначалом моим.
Дай твою руку.

* * *

А жизнь продолжается.
Значит, недаром
На небе всё та же звезда.
И птица всё та же на дереве старом
Находит приют для гнезда.

Прапамять от Памяти не отделима,
Как все мы от предков своих.
И демон бунтует в душе херувима,
И ангел пока не затих.

Нам выпало жить среди разного люда
И в разные жить времена.
Но главное — помнить:
Кто мы и откуда.
И не забывать имена.

Содержание

I. СТИХИ

Юрий РЯШЕНЦЕВ. БЕССОННИЦА, СУМЯТИЦА, СУМБУР 5
Ирина ЕРМАКОВА. ВОЕННЫЕ РОЗЫ 10
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. СТИХИ ИЗ «ВЕЛИМИРОВОЙ КНИГИ» 15
Марина БОРОДИЦКАЯ. МЕЖДУ НАМИ 20
Галина НЕРПИНА. ХРУПКИЕ ДНИ 25
Илья ФАЛИКОВ. ИЗ КНИГИ «ПРОСТИ» 31
Александр ПЕРЕВЕРЗИН. ИЖ ЮПИТЕР-3 37
Анна АРКАТОВА. СООБЩЕНИЕ УДАЛЕНО 43
Владимир САЛИМОН. ДОЖДЬ СО СНЕГОМ 48
Элина СУХОВА. КРАСНЫЙ ПАХАРЬ 53
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРЕСТ 58
Андрей ГРИЦМАН. ЗАМЕРЗШЕЕ МОРЕ 63
Евгений БУНИМОВИЧ. ЭПИТАФИИ ПЛЮС 68
Ирина КАДОЧНИКОВА. ЖАЛКО ПТИЦ — ИМ НАДО УЛЕТАТЬ 75
Геннадий КАЛАШНИКОВ. БУКВЫ 79
Анна ПАВЛОВСКАЯ. БЕЗЫМЯННЫЕ СНЫ 84
Вячеслав ПОПОВ. ДАЙ МНЕ ПАМЯТИ В ДОЛГ 88
Надежда КЕЛАРЕВА. А МОЙ ЛЕС ДАЛЕКО-ДАЛЕКО 93
Сухбат АФЛАТУНИ. ОН ЖИВ 96
Андрей БАРАНОВ. ЭТО МЫ СТУЧИМ В ОБШИВКУ 100
Игорь КУНИЦЫН. КАК МНОГО В МИРЕ ОДИНОКОГО 103
Ефим БЕРШИН. ИСЧЕЗНОВЕНЬЕ ГЕОГРАФИЙ 108
Елена ЛАПШИНА. В ПОЮЩЕЙ ВОДЕ 113
Ксения АКСЁНОВА. Я БУДУ ТАМ И ЗДЕСЬ 117
Надя ДЕЛАЛАНД. ТО ТЫ УСЛЫШИШЬ, КАК СМЕЮТСЯ ПТИЦЫ 121
Константин КОМАРОВ. С ТЕХ ПОР, КОГДА НЕ СТАЛО БОЛЬШЕ СМЕРТИ 126
Евгения Джен БАРАНОВА. СТРАХ И ЗВЕЗДЫ 131
Вадим МУРАТХАНОВ. ИЗБРАННЫЕ «ПОРТРЕТЫ» 135
Евгения ИЗВАРИНА. О ПАРУСЕ ПУСТЫНЬ 140
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. ФРАГМЕНТЫ ВОДНОЙ ГЛАДИ 145
Юлия ДОЛГАНОВСКИХ. Я В ЗАГРОБНЫЙ МИР НЕ ВЕРЮ 150

Александр КУРАПЦЕВ. УЛИЦА ПОКРЫТА ЛЬДОМ 153
Антон ВАСЕЦКИЙ. СО СТОРОНЫ ОКЕАНА 156
Андрей ИВОНИН. ВЗДРОГНУЛА, ТРОНУЛАСЬ, СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА ЗИМА . . 160
Дмитрий ГАСИН. ТАМ МЕЛКИМ ШРИФТОМ ОТ МЕНЯ ПРИВЕТ 164
Светлана ВАСИЛЕНКО. АВТОПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ 168
Виктор КУЛЛЭ. А УХОДИТЬ ПРИДЁТСЯ НАЛЕГКЕ 176
Лера МАНОВИЧ. НО АВГУСТ ПРИЗЫВАЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ 181
Василий НАЦЕНТОВ. СЕВЕРНЫЕ СТИХИ 186
Юлия МЕДВЕДЕВА. ОНА СТАРЕТЬ НЕ ХОТЕЛА... 191
Александра ХОЛЬНОВА. Я ДЫШУ ПОД ВОДОЙ 197
Ганна ШЕВЧЕНКО. ГРОЗОВАЯ КАРУСЕЛЬ 200
Елена ПОГОРЕЛАЯ. ЕЩЁ ОДНИ КОРОТКИЕ ПИСЬМА 205
Лета ЮГАЙ. ВЕСЕННЯЯ ОТКРЫТКА 210
Григорий МЕДВЕДЕВ. ПОСМОТРИМ ТУДА ОТСЮДА 216
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. ГОРОДУ И МИРУ 220
Майка ЛУНЁВСКАЯ. СНЕГ, НЕ ХОДИ ЗА МНОЙ 225
Любовь КОЛЕСНИК. НИ ЧЕЛОВЕКА, НИ ДОМА 230
Сергей СКУРАТОВСКИЙ. НЕМАЯ ПТИЦА 235
Влад ЮЖАКОВ. ИСКУССТВО КРАСИВО ТОНУТЬ 240
Санджар ЯНЫШЕВ. ПЕРЕУЧЕННЫЙ ЛЕВША 245
Анастасия ТРИФОНОВА. ВОТ И Я РАЗБИЛА ГОЛУБУЮ ЧАШКУ 247
Анна МАРКИНА. ЛЕБЕДИНАЯ ДРОЖЬ ТЕТИВЫ 251
Родион МАРИНИЧЕВ. ПРИРУЧЁННЫЙ ВОДОВОРОТ 256
Андрей КОРОВИН. ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ 261
Евгений ЛЕСИН. НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПО-ПЛОХОМУ? 268
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. ВСЁ ОСТАВЛЕНО ТАК, КАК ДО МЕНЯ ЗДЕСЬ БЫЛО 272
Вадим МЕСЯЦ. В СУХОМ ОСТАТКЕ 277
Юрий ТАТАРЕНКО. ЭТАПЫ МАЛОГО ПУТИ 280
Елена СЕВРЮГИНА. ЛЮДИ-РЫБЫ 284
Олег ХЛЕБНИКОВ. В КОНЦЕ БУДУЩЕГО 289

II. КРИТИКА

Елена СЕВРЮГИНА. ЭЛЕГИЯ ВОЗДУХА
(О «Велимировой книге» Владимира Гандельсмана) 297
Елена САФРОНОВА. ВРЕМЯ НАОБОРОТ 303
Андрей ГРИЦМАН. ЛИРИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ (Тезисы о лирике) 309

Елена ПОГОРЕЛАЯ. «ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» НАВЫВОРОТ:
романтический герой неромантической эпохи
(«Иж Юпитер-3» А. Переверзина) 327
Евгений АБДУЛЛАЕВ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
(Шесть поэтических сборников 2025 года) 346

III. ПАМЯТЬ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ. ЕЩЁ ОДИН ШАГ 367
Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ 371
Наталья АРИШИНА. ПРОСТОЕ ПИСЬМО 375
Владимир СТРОЧКОВ. С ГРУСТЬЮ И ОТВРАЩЕНИЕМ 380
Бахыт КЕНЖЕЕВ. ПЛУТОНИЕВЫЕ ВРЕМЕНА. 386
Дмитрий СУХАРЕВ. СТИХИ О ДОМАШНЕМ МУЗИЦИРОВАНИИ 393
Вадим ЖУК. ТЫ ВЕРНЁШЬСЯ 400
Евгений СОЛОНОВИЧ. РАЗВЕ ЕСТЬ ТАКИЕ КОШКИ?. 408
Татьяна КУЗОВЛЕВА. ПРАПАМЯТЬ 414

Альманах Союза писателей Москвы

КОЛЬЦО «А»

избранное 2022–2025

Редакторы:
Галина Нерпина (главный редактор),
Александр Переверзин,
Элина Сухова

Веб-сайт: soyuzpisateley.ru
E-mail: gnerpina@yandex.ru, suhovae@mail.ru

Подписано в печать 5.06.2026
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 26,4
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Белый ветер»
Москва, ул. Щипок, 28

16+

Знак информационной продукции
согласно Федеральному закону от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-6056582-0-7

9 785605 658207 >